

**ЛЮДМИЛА
БЕЛОНОВСКАЯ**

**МОЙ АДРЕС
СОВЕТСКИЙ
СОЮЗ...**

Людмила Белоновская

Мой адрес Советский Союз..

«Eksmo Digital»

Белоновская Л. Г.

Мой адрес Советский Союз.. / Л. Г. Белоновская — «Eksmo Digital»,

В книге описывается 80-летняя история жизни семьи, представляющей петербургскую и ленинградскую интеллигенцию. Семьи, которая была свидетелем всех значимых событий прошлого века и существенно пострадавшей во время политических репрессий. Описан значительный отрезок времени, полного перемен. Время безжалостно стирает все мое прошлое. Именно сейчас, когда молодое поколение не знает, как жили их предки, чем дорожили, от чего мучились, как менялась жизнь, формировалась новейшая история страны, и нет у них уже доверия власти, СМИ, на основе личных воспоминаний, я рассказываю, как мы жили, радовались и печалились, надеялись и заблуждались. Рассказываю как человек небезразличный к событиям, происходящим в стране.

© Белоновская Л. Г.

© Eksmo Digital

*И нет уже свидетелей событий,
И не с кем плакать, не с кем вспоминать...*

А Ахматова

Хочу попытаться объяснить, зачем я решила написать про себя такую большую книгу, да еще снабдить ее преимущественно мною сделанными фотографиями. Совсем не потому, что моя личная жизнь была так уж насыщена различными событиями, умными размышлениями и людьми, и могла быть интересна для возможного читателя. Нет, я была обычной среднестатистической особой, правда, интересующейся не только личным пространством, но и политическими вопросами, касающимися нашей страны и пыталась их интерпретировать, хотя по большому счету я не была достаточно образованной и информированной. И уж конечно не по тому, что почувствовала в себе какой-то литературный дар.

Скорее всего по тому, что я была свидетельницей значительного отрезка времени, полного перемен, и под старость лет остро почувствовала, что время безжалостно стирает все мое прошлое. Молодые поколения не знают, да и не хотят знать, как жили их предки, чем дорожили, от чего мучились, как менялась жизнь, формировалась новейшая история страны. Конечно, это обидно. Вот я на основе личных воспоминаний и пыталась рассказать, как мы жили, радовались и печалились, надеялись и заблуждались.

Итак, я прожила много лет. Была свидетельницей войны, социалистического восстановления и строительства, застоя, моментов национального ликования и гордости, связанных с космосом, последующего распада страны, лихих 90-х. С 2000-х годов начались попытки строения светлого и хорошего уже капиталистического будущего в дружной семье европейских народов. Правда, почему-то они совсем не в восторге от таких перспектив и активно стараются не пустить нас в это светлое будущее с помощью различных экономических и политических санкций.

Наконец, уже в теперешние дни, когда наша страна несколько окрепла, нас со всех сторон обвиняют в участии в локальных войнах как с близкими, так и с довольно удаленными соседями, которые, к сожалению, не понимают, как надо и как справедливо, а дружно считают нас ужасными злодеями, мечтающими напасть на них и уничтожить. Именно поэтому вдоль нашей границы они размещают свои и американские военные базы. Поговаривают, что мы на грани третьей мировой войны, а ведь она, возможно, будет ядерной, и мы уж наверняка будем принимать в ней самое активное участие.

Мрачновато получается... А тут еще накладывается личный фактор – институт, который определял практически всю мою сознательную жизнь (а это свыше шестидесяти лет) разваливается, находится на грани банкротства, и я ушла на заслуженный отдых. «Наконец-то вырвалась из плена... Как теперь дышать и как мне, жить?».

Вот и настало время для мемуаров, хотя, как мне кажется, в голове воспоминания о прошлом хорошо перемешаны с настоящим, да и вообще вся жизнь прошла как-то не в духе социалистического реализма, а была смесью реальности с фантазиями и воспоминаниями. Но попытаюсь по возможности правдиво, отбросив в сторону какие-либо политические предпочтения, отобразить то, что в голове сложилось в определенные картинки.

Вообще-то я по натуре весьма жизнерадостная особа, довольно легкомысленная, самолюбивая, но не злая зануда. Если не залезать в глубь, то, мне кажется, весьма сносна для общения, хотя в последние времена стала более нелюдимой, вероятно потому, что оглохла и ослепла... Может быть поэтому мои воспоминания даже о тяжелых днях довольно светлые.

Раннее детство.

Конечно, все на свете относительно, но я всегда считала, что мне по жизни повезло. Я появилась на свет на кануне 1937 года в очень хорошей семье. Правда, мамы и папы у меня практически в раннем детстве не было (отец оказался опасным фашистским шпионом, поэтому

его, как потом выяснилось, в 1937 году расстреляли, а жену, то есть мою маму, на шесть лет сослали в ссылку в Удмуртию). Но зато у меня были прекрасные любящие дедушка и бабушка, которые меня очень любили.

Квартира была огромная, все стены увешены старинными картинами и портретами. В столовой над круглым столом красного дерева висела бронзовая люстра в виде подвешенной на цепях круглой корзины с венками, лебедями и канделябрами в форме свечей. Потом уже, через много лет, я видела подобную люстру в одном из музеев. В дедушкином кабинете под огромным письменным столом лежала шкура настоящего леопарда (или барса) с зелеными стеклянными глазами. В последствие, уже после войны, он был для меня и моих подружек воплощением фашистов, я палкой с вбитым в нее гвоздем, как пикой, наносила по нему сокрушительные удары. Правда, окончательной победы над фашизмом добился наш кот Пушок (дымчатый пушистый красавец с белой грудкой и носочками), который не только рвал когтями этого барса, но и оставлял на нем свои пахучие заметки. Как дедушка не пытался нас от агрессии отучить, но Пушок был неумолим, пришлось барса выкинуть (а жаль).

На стене в столовой висели огромные часы с маятником, которые каждые четверть часа исполняли очень приятную мелодию, нарастающую с каждой четвертью, и в конце часа отбивающие его количество. Раз в неделю к нам приходил специальный часовой мастер, залезал на стремянку и заводил их.

Из довоенного детства я помню немного. В частности, один день, когда я стою в своей кровати, вся залитая солнцем, а мне на голову вернувшийся из плавания дядя Лева сыпет из кулечка конфеты типа ирисок в очень красивых фантиках. Также вспоминается печальный вечерний ритуал – моя бабушка перед сном долго пыталась меня усадить на горшок, я ей доказывала, что не хочу, мы спорили, я была непреклонной в отстаивании своих прав, в конце концов она сдавалась и укладывала меня в кровать с сеткой и блестящими железными шариками. В скором времени я звала бабушку – «баба, здесь дурно пахнет». Вот такой был приятный ребенок.

Зато у меня был хороший аппетит, но бабушка все равно меня кормила противным рыбьим жиром – по ложке три раза в день, заедать следовало кусочком посоленного черного хлеба. Бабушка была настойчива, и я громко ревела. Дедушка пытался меня защитить, но бабушка была неумолима. Вероятно поэтому в раннем детстве я была крепким, весьма упитанным ребенком.

На лето меня отправляли с тетей Дусей, сестрой моей матери, в деревню Витово (крайний юг Ленинградской области), где жила ее мать баба Паша вместе с другими своими дочерьми – тетей Олей и тетей Тоней. Баба Паша была худой, маленькой, чернявенькой, работала в колхозе птичницей, иногда она приносила домой полное решето маленьких пушистых желтеньких цыплят, которые разбегались по полу, я за ними ползала, но они не давались в руки.

У тети Дуси был сын Геня, мой двоюродный брат. Он был на три месяца младше меня, худенький, плаксивый и в отличие от меня плохо ел. Помню такую картинку: тетя Дуся дает мне и ему по банану. Я со своим справляюсь моментально, а он мусолит свой, капризничает. Я протягиваю руки к его банану – давай, помогу. Несомненно, в те времена бананы в деревне не были в изобилии. Еще помню, как мы с ним сидим на полу, каждый в своем углу. У меня куча игрушек, но я ими не играю, а внимательно наблюдаю за Геней. Вот он нашел какую-то катушку и начал ее возить, как машинку. Я тут же хватаю эту машинку и забираю в свою кучу. От такой наглости Геня ревет и лезет ко мне, чтобы восстановить справедливость. Я, защищая свою собственность, всей своей массой отталкиваю его и сурово говорю: «не тронь сиротиночку». Наблюдающие взрослые за меня заступаются.

Все-таки больше мне вспоминается жизнь в городе. У меня был дядя – младший брат моего отца. Звали его Левушка – назвали в честь Льва Толстого. Он был студентом Корабле-

строительного института, очень веселый, все время или пел, или играл на пианино в окружении молодых людей веселые джазовые песенки. У него был озорной песик породы фокстерьер, звали его Стрит. Пес любил грызть обувь, стоящую в прихожей. Однажды к дедушке в гости пришел профессор. Тогда не одевали тапочки, а в прихожей снимали галоши. Так вот Стрит одну галошу этого профессора порвал вдребезг. Дедушка в виде наказания выгнал пса на балкон. Я помню, как Стрит стоял на задних лапах, а передней лапкой стучался в стекло, прося прощения.

На Новый, вероятно 1941 год, Левушка нарядился в деда Мороза и мне подарил очень красивые заграничные заводные игрушки – пушистого ослика, на боку которого сидел овод, а ослик вертелся и хвостиком пытался согнать его, а также мышонка Мики Мауса, запряженного в маленькую тележку, которую он активно возил, смешно переставляя ножки. Под конец представления, у нарядной новогодней елки мой дядя - дед Мороз – показал мне фокус – взял деревянную вешалку и проткнул ею свой живот. Это произвело на меня огромное и ужасное впечатление, и несмотря на то, что Левушка пытался показать мне технику этого фокуса, праздник закончился и вся семья была вынуждена долго успокаивать меня.

А еще мне вспоминается мой сон – я, как колобок, качусь по травке-муравке, надо мною яркое голубое небо, кругом цветочки, бабочки, птички поют, за каждым поворотом что-то новое, красивое, удивительно приятное... И мне так хорошо, уютно, тепло, весело, интересно... Ощущение настоящего счастья.

Война.

Дальше уже была война. На лето 1941 года я была снова отправлена с тетей Дусей и Геней в деревню Витово. К началу войны нам с Геней было по четыре с хвостиком, у тети Дуси был огромный живот (в конце ноября родилась моя двоюродная сестра Римма). Как только узнали о войне, сразу же решили возвращаться в Ленинград. Стояла жаркая погода, солнце ярко светило. Нам с Геней на спину одели маленькие котомки с личными вещами, тетя Дуся взяла нас за руки, и мы втроем пошли по лесной тропинке, чтобы по ней добраться до шоссе, ведущего к Луге, а значит, и к Ленинграду. Идти было долго, километров четыре – пять. В сандалики попадался песок, кусались комары, царапались ветки, жалила крапива. Мы с Геней дружно хныкали, временами ревели, тете Дусе приходилось часто останавливаться, чтобы вытряхивать из наших сандалий песок и передохнуть.

Наконец, мы вышли на шоссе. Настроение намного улучшилось. По шоссе двигались в сторону Луги вереницы больших высоких военных грузовиков, в которых на скамейках сидели молодые ребята. Тетя Дуся голосовала, одна из машин остановилась, нас забрали, причем тетя Дуся с трудом залезла, ей мешал некрасивый живот. Нас с Геней дружно приняли в компанию, мы вместе пели песни, причем я пела лучше, во всяком случае громче.

Вероятно, это были студенты, возвращавшиеся домой после рытья окопов в Лужском укрепл. районе. Они еще, несомненно, не видели немцев, поэтому были веселые. Внезапно машины в колонне остановились, сидящие в них люди стали быстро выскакивать и прятаться в расположенные вдоль шоссе канавы. Мы тоже выскочили и спрятались в кювете. Мне было жалко тетю Дусю, которая с таким трудом вскарабкалась в машину, и так быстро ей из нее пришлось вылезать. А тем временем низко вдоль шоссе появилась зловещая вереница темно-серых самолетов с широко расставленными крыльями, на которых были четко нарисованы в белом круге черные немецкие кресты. Самолеты летели так низко, что, как мне помнится, были видны даже лица пилотов и пулеметчиков, которые стреляли вдоль шоссе.

Было только самое начало июля, а немцы уже были около Луги, то есть рядом с Ленинградом. Тем не менее люди, лежащие в кювете, были вроде и не очень напуганы, мы пели песни, и я, конечно, лучше, чем Геня.

В Луге нас ожидала машина, которую нанял дедушка, она и довезла нас домой, но как это произошло, в памяти не осталось. Уже дома помню, как мы сидели на балконе. На маленьком круглом столике стояла простокваша для каждого в своем персональном горшочке, у меня – в красненьком, в тарелке – нарезанные куски душистого хлеба. Рядом ходил большой полосатый кот Васька и ненавязчиво напоминал о себе. Был теплый вечер. А тем временем мимо по Греческому (наш дом был на углу Греческого проспекта и улицы Некрасова) проносили огромные серебристые в форме толстых колбас аэростаты. С каждой стороны шло по три человека в военной форме, державшие эти огромные продолговатые шары. Мне объяснили, что это для воздушного заграждения, чтобы немецкие самолеты не могли прилететь в наш город, а натыкались на них и улетали обратно. Было красиво и совсем не страшно. Пожалуй, это последнее мирное воспоминание.

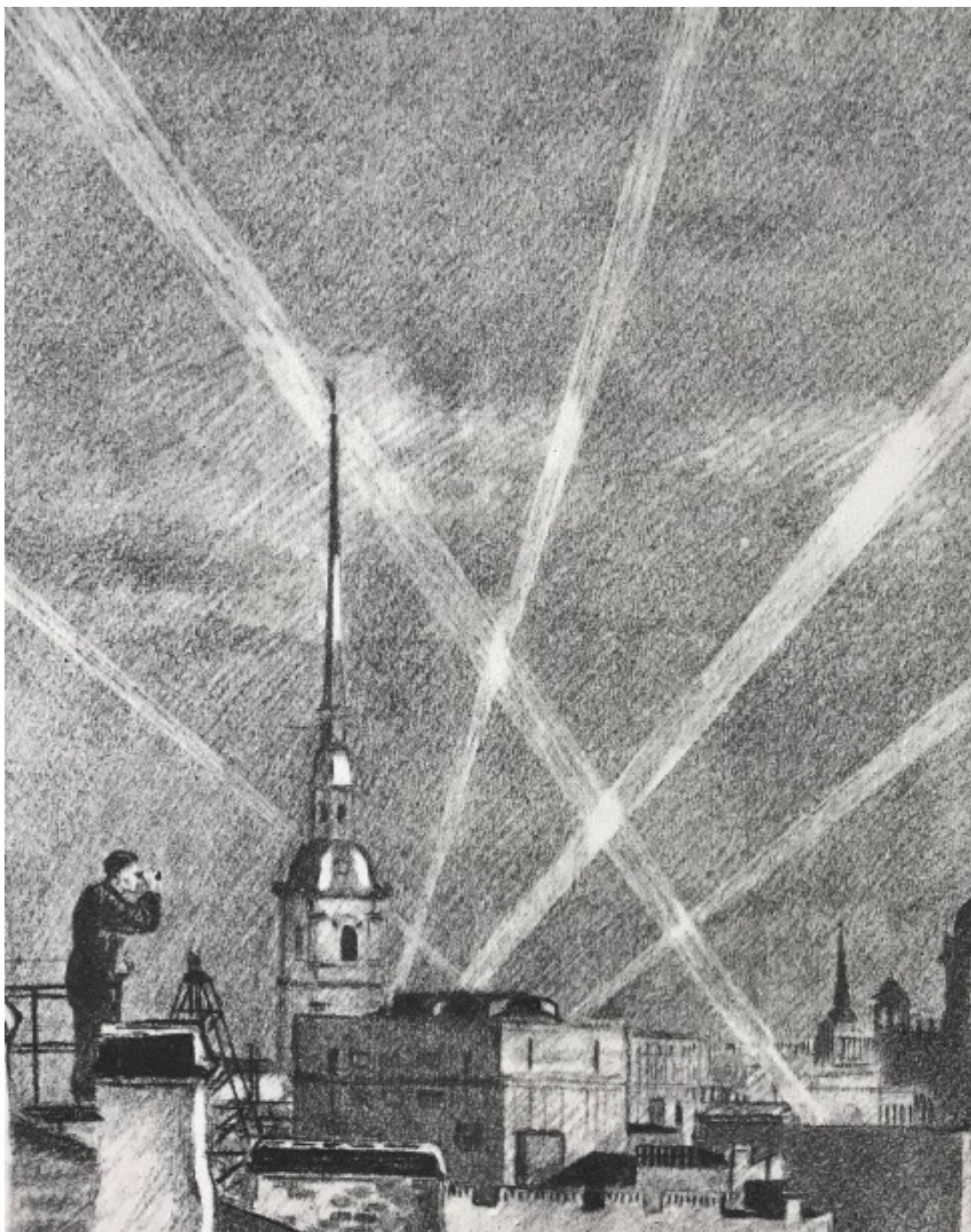
Следующе, врезавшееся в память воспоминание – мы – дедушка, бабушка и я сидим в столовой за нашим круглым столом, покрытым белой скатертью, под уже описанной бронзовой люстрой с лебедями и венками. На столе красиво расставлена посуда, мы обедаем. В комнате открыто окно, значит еще лето, открыта также дверь на кухню. Вдруг раздался какой-то свист, грохот, бабушка мгновенно сдергивает меня со стула в сторону, мимо нас что-то пролетает прямо в открытую на кухню дверь, грохот, и все смолкает. Мы бежим на кухню, оказывается, к нам в окно влетел небольшой осколок, он отбил угол кухонной стены, на полу валялись обломки штукатурки. Уже потом мне объяснили, что наш дом находился в стратегически опасном районе – близ Таврического сада, где размещалось много военных объектов – казармы, Артиллерийское училище, военное НИИ, завод. Именно сюда, и, в частности, в Таврический сад, попали первые в нашем городе артиллерийские снаряды и бомбы.

Больше совместных чаепитий не было. Очень быстро исчез дедушка. Он перебрался в военный госпиталь, где работал и жил, и к нам домой не приходил. Ведь он был микробиолог – эпидемиолог и выполнял там обязанности врача. После войны его за это наградили медалью «За оборону Ленинграда».

Дома стало скучно, темно. На окна были наклеены крест на крест полоски бумаг, в какой-то мере сохраняющие стекла от растрескивания из-за взрывной волны на мелкие осколки при бомбардировках и артобстреле. Кстати, такие заклеенные полосками бумаги окна были характерны во время войны для всего города. Кроме того, вводилась обязательная светомаскировка, в результате чего на улицах не было освещения, а дома должны быть черными, чтобы у немцев не было ориентировок, куда бомбить.

У нас в квартире уже не горела люстра, все окна были плотно занавешены. Почему-то мне кажется, что мы пользовались в основном керосиновыми лампами, может быть электричество работало с перебоями, или его не было, к сожалению, мне об этом спросить уже не у кого. По городу распространялись слухи, что немцы вербуют из местных жителей шпионов, которые по ночам залезают на крыши и с помощью каких-то световых браслетов ориентируют их обстрелы и налеты. Поэтому у нас по ночам дежурили на крышах, чтобы ловить диверсантов. Основные же архитектурные, а может быть и не только, объекты были закрыты маскировочной сеткой.

А еще временами черное ночное небо пронзали красивые перемещающиеся лучи прожекторов,



считалось, что они оберегают город от немецких самолетов и ночных бомбардировок. Но ведь город обстреливался и пушками, которые стояли на Пулковских высотах, и эти обстрелы, а также бомбардировки прорвавшихся вражеских самолетов, случались и ночью.

Бабушка, вероятно, хотела меня отправить в эвакуацию, я смутно помню, что она приготовила для меня котомку, в которую положила мою любимую игрушку – медвежонка, фотографии и какую-то одежду. Мы ходили на вокзал, там были обезумевшие толпы народа, давка,

крик, что-то страшное... Я до сих пор боюсь толпы. Пыталась она и с тетей Олей, другой маминной сестрой, отправить меня через Ладогу, даже ей отнесла мои вещи, но что-то там произошло, тетя Оля была контужена при обстреле, и эвакуация не состоялась.

Какое-то время вплоть до Нового года я ходила в детский сад на 8-ой Советской. Там даже отмечали елку, у меня сохранилась фотография нашей группы, но сам праздник я не помню. Хотя сам факт, что в замерзающем голодном городе хватало сил, чтобы устроить елку для детишек, говорит о многом...



По-моему, бабушка пыталась меня отправить в эвакуацию и с детским садом.

Дальнейшие воспоминания касаются уже зимы, той страшной, студеной, голодной. Как я уже говорила, дедушки с нами не было – он работал и жил в госпитале. Левушка еще до войны отправился в дальнее плавание в Германию на торговом корабле Хасан.

Мы с бабушкой и Матрешей – моей няней – жили одни в этой огромной холодной квартире. С начала войны у нас отобрали Левушкин приемник, по которому он когда-то в наушниках слушал Бибиси и музыкальные передачи. Вместо него на стене висела черная тарелка репродуктора, которая не отключалась круглые сутки. По ней звучала жуткая сирена тревоги и прекрасная мелодия отбоя, передавалась текущая информация, звучал чеканный голос Левитана и, конечно, песни, которые я в то время практически все знала наизусть. По сигналу тревоги мы втроем спускались в бомбоубежище, находившееся рядом в подвале в четвертом дворе нашего дома. Там стояли специально поставленные скамейки, горело тусклое электричество, был титан с водой. Все люди были какие-то молчаливые, сосредоточенные, терпеливо ждали отбоя.

В связи с приходом холодов, в квартире откуда-то появилась железная печурка, от которой тянулась длинная труба в дымоход (оказалось, что в каждой комнате под обоями были такие отверстия, закрытые заслонкой). Появлялись дрова, но их было мало, приходилось экономить и топить стульями или каким-нибудь подручным материалом. Помню, как Матреша с бабушкой рубили для этой цели какое-то кресло. Дома мы практически не раздевались, ходили в валенках и пальто.

Подступал голод. Мы знали, что сгорели Бадаевские склады, в которых были сосредоточены все продукты для города. Запасов провизии у нас не было – до войны создавать их было не принято, в магазинах всего покупали понемногу, чтобы есть все свежее, не думая о завтрашнем дне. Люди ездили на пожарище, собирали сохранившиеся обгорелые остатки и даже землю. Продукты стали выдавать по карточкам. Было четыре разновидности – рабочая, служащая, детская и иждивенческая. У меня была детская, у бабушки и Матрешы – иждивенческая, по которой полагалось минимальное количество продуктов. Продуктовые нормы менялись в сторону уменьшения. Есть хотелось постоянно. Кот Васька, как одурелый, вопил и носился по квартире. Соседка по дому (мы жили на третьем этаже, а она, Нелли Осиповна, проживала вместе со своей матерью на пятом) обижалась и сердилась на бабушку за то, что она содержит кота. В результате все-таки бабушка отдала Ваську этой противной тетке, которая его съела. Уже потом, после войны, Нелли Осиповна, постаревшая и важная, часто возмущалась на подрастающую молодежь (то есть на нас) за то, что мы так шумим, такие грубые и непочтительные, а я прекрасно помнила, как она во время войны орала и обижала свою старенькую мать.

В ноябре-декабре продуктовые нормы уменьшились до минимума. Ходили всевозможные страшные слухи о том, что имеются случаи людоедства. Помню байку о том, как одна маленькая девочка до войны была очень капризной, еду, которой ее давали, потихоньку выбрасывала за шкаф, где ее привыкли подбирать крысы. Когда началась война, девочка уже не выбрасывала еду. Крысы обиделись на нее, ночью залезли к ней в кровать и отели ей нос. На меня эта байка так подействовала, что до сих пор я перед тем, как уснуть, нос прячу под одеяло.

Вскоре Матреша умерла. Бабушка ее отнесла в неотапливаемую комнату, мне же сказала, что Матреша уснула. Пришли молодые девушки с носилками и ее унесли. Матреша была няней еще моего отца, она была такая маленькая, худенькая, молчаливая. Помню, до войны она тихонько, чтобы не видела бабушка, угощала меня разноцветными кругленькими лепешечками – фруктовыми помадками, гладила по голове, говорила, что я очень похожа на Юрочку (моего отца), который был таким хорошим.

С нею у меня связано еще одно блокадное воспоминание, которое меня преследует практически всю мою жизнь. Зима, холод, голод... Бабушка на саночках везет меня на улицу Восстания к тете Дусе. У нее муж – дядя Ваня – работает шофером и водит машины по дороге жизни. Поэтому у них было больше хлеба. Тетя Дуся отрезала нам от буханки два толстых ломтя. Приехали домой. Бабушка эти куски порезала на маленькие дольки, сказала Матреше, чтобы она через определенное время дала мне кусочек, и ушла на дежурство. Жильцы дома были обязаны каждый день отдежурить определенное время на крыше со щипцами и ведром

с песком на случай падения зажигательных бомб, а также какое-то время заниматься уборкой придворовых территорий. Было даже специальное расписание дежурств. Матреша, сама собой, выполнила поручение. Когда бабушка вернулась домой, я стала просить у нее хлеба. Она отказала, сказав, что недавно Матреша меня кормила. Я горячо возражала – нет, она еще не давала мне хлеба. «Как же, Люсенька, я же давала...». «Нет, не давала» – твердила я, прекрасно зная, что вру. Мне тогда едва исполнилось пять лет. Надеюсь, что моя бабушка, как мудрый человек, не поверила мне, но чем этот эпизод кончился, я не помню, а свое вранье – помню, хотя мне о нем больше никто не напоминал. Конечно, все можно списать на голод, и все же... Матреша была такой маленькой, старенькой, худенькой, беззащитной, безгранично преданной... Умерла от голода.

Как нечто необычайно вкусное вспоминаю темно-коричневые куски жмыхов, пахнущие подсолнухами, волнистые пластины столярного клея, крупинки саго (крахмала). Но они нам доставались очень редко.

Помимо еды, не было и воды – ведь водопровод не работал. Бабушка за ней ходила на Неву, брала саночки, на них ставила ведра, бидоны, кастрюли. Когда не стало Матрешки, ей пришлось брать с собой и меня. Один из таких походов я помню хорошо.

От дома мы шли по Парадной улице до Таврического сада, сворачивали налево по Потемкинской улице, пересекали улицу Войнова (Шпалерную), и вот уже спуск к Неве. Как только отошли от дома, нам на встречу попала закутанная сторбленная фигура, которая тоже на санках везла нечто в виде завернутого в простыню бревна. Затем на Парадной мы догнали еще одни санки с белым бревном,двигающиеся в нашем направлении. Когда мы с ними поравнялись, остановился грузовик, соскочили какие-то люди, открыли боковой борт грузовика. Я увидела, что он на треть заполнен такими же белыми бревнами. Два человека подошли к санкам, один взял бревно за один конец, другой за противоположный, раскатали, бросили в машину, закрыли боковой борт и поехали дальше. Я по сю пору помню звонкий звук того белого бревна, который бывает от промерзших березовых поленьев. Для меня, вероятно, это была обыденная, поэтому не страшная картина, хотя я уже тогда прекрасно понимала, что это были за белые бревна.

Мне не было страшно, печально, нет, небо такое ярко голубое, солнце сверкало, отражаясь в белоснежных сугробах, я бежала за санками, вскакивала на них, баловалась, радовалась, что бабушка взяла меня с собой, бросала в нее маленькие снежки.

Подошли к Неве. Здесь было много народу тоже с санками и емкостями под воду. Были и ребяташки, укутанные также, как и я, во всевозможные платки и шарфы, и пришедшие со своими взрослыми. Спуск к воде был крутой, заледенелый, очень скользкий. Кстати, всю эту зиму 1941-42 г.г. температура не поднималась выше 25⁰, чаще было за тридцать.

Воду брали из большой проруби чуть ли не на середине Невы.



Спускаться на лед было довольно весело, а вот забираться назад с груженными санками – трудно. Многие падали, вода проливалась, образовывая новые наледи, приходилось снова поворачиваться назад за водой. По-моему, редко кому удавалось вскарабкаться с первого раза, поэтому люди в основном выглядели страшно изможденными.

То же самое было и у нас. Я толкала санки сзади, помогала бабушке. Когда она падала, я с удовольствием вместе с санками катилась вниз на пузе, и даже смеялась. Бабушке, конечно, было не до смеха.

Во время нашего подъема прозвучал сигнал воздушной тревоги, но никто не побежал в бомбоубежище, тем более, что рядом его и не было. В этот раз немцев мы не видели, хотя рассказывали, что бывали случаи, когда немецкие самолеты летели вдоль Невы и расстреливали из пулемета так прекрасно видные на белом снегу черные фигурки.

Когда возвращались домой, на Парадной улице у высокого каменного забора увидели толпящихся людей. Они читали что-то, прикрепленное к стенке, многие плакали. «Баба, прочитай!», и бабушка мне прочитала листовку, на которой были стихи казахского акына Джамбула. Я их помню:

Ленинградцы, дети мои, ленинградцы, гордость моя!
Я в струе степного ключа вижу блеск невской струи...
Если мимо своих высот взором старческим я скользну –
Синеvu твоих вижу вод, зорь Балтийских голубизну...

Прошло уже столько десятилетий, а я не могу их вспоминать без слез. Сразу перед глазами встает эта картина – люди голодные, замерзшие, чуть живые, плачут и улыбаются, верят, что они не одни, их помнят, любят, им сочувствуют всей душой, их стойкостью гордятся.

Пожалуй, это одно из моих самых сильных военных впечатлений. Вероятно поэтому, когда уже в постсоветское время наш импозантный, демократичный, чужеродный губернатор Собчак переименовал город – восстановив, так называемую, историческую справедливость, я это восприняла как плевок в лицо блокадникам-ленинградцам. Самое печальное то, что происходил референдум, и такое решение поддержало большинство жителей. Хочется верить, что это был подлог, или, увы, в городе уже на то время в живых осталось мало блокадников, а оставшиеся старики не смогли донести молодому поколению, что значило для самой жизни ленинградцев это название, кстати, намного более звучное, красивое и гармоничное для русского уха, чем звучащий по-немецки «Санкт-Петербург».

Ужасная зима длилась долго. Старожилы уверяют, что такой холодной зимы в наших краях никогда не было. Днем стояла ясная, солнечная безоблачная погода, самая подходящая для вражеской бомбардировки. «Почему наши зенитчики так часто пропускают немецкие самолеты?» – спрашивала я у бабушки. Кстати, уже весной мы с бабушкой оказались на Марсовом поле, таком безлюдном, огромном, каком-то взъерошенном, и там я видела зенитный расчет – несколько молодых девушек, одна сидела на специальном металлическом стульчике, на что-то там нажимала, длинное дуло небольшой пушки, устремленное в небо, поворачивалось вместе со стульчиком, а другие девушки подавали снаряды. Меня это не впечатлило, показалось чем-то не очень серьезным. Какая-то маленькая зенитка (или пулемет) на таком огромном пустынном поле. Разве может одна тоненькая зенитка обезопасить такое огромное воздушное пространство? Девушки-зенитчицы выглядели совсем беззащитными, мне было за них как-то страшно...

Все-таки как неоднозначна судьба – с одной стороны суровая зима погубила немало ленинградцев, но скольких она спасла... Только благодаря такой постоянной холодной погоде могла работать Ладожская дорога жизни. Ведь ее без конца обстреливали, взрывали, и тем не менее она работала, по ней шел хлеб, двигались машины с эвакуированными, по карточкам хоть мало, но что-то давали. Между прочим, шофером на ней работал и дядя Ваня, муж тети Дуси. Потом, уже в мирное время, он мало, что рассказывал, помню только, он говорил, что весь путь по Ладоге обычно ехал при открытых дверях машины, часто на подножке, чтобы было легче соскочить с машины при попадании снаряда... Мне кажется, лучше всего о дороге жизни сказано в четверостишье Ольги Бергольц, выбитом на одном из памятников:

Дорогой жизни шел к нам хлеб
Дорогой дружбы многих к многим.
Еще не знали на Земле
Страшней и радостней дороги...

Тем не менее наша с бабушкой блокадная жизнь потихоньку текла. Мы уже привыкли к звукам сирены, не спешили в бомбоубежище. Когда объявляли тревогу, бабушка брала с собой небольшой тряпочный мешочек, в котором у нее лежали продуктовые карточки, документы и драгоценности, и мы спускались с нашего третьего этажа на второй этаж, где жила семья наших

знакомых – профессора Розенфельда. Почему бабушка так делала, я не знаю, мне даже тогда казалось, что от бомбы этот маневр вряд ли мог нас спасти.

Также, как и в нашей квартире, у них было темно – светомаскировка, но, по-моему, теплее. Однажды, когда мы там были, к бабушке пришел какой-то молодой мужчина, очень приятный. Он сказал, что вместе с дедушкой работает в госпитале, дедушка передает нам привет, очень о нас скучает. Бабушка расспрашивала его, как дедушка поживает. Дядя был очень хороший, он меня качал на ноге, сетовал, что мы живем в таком нехорошем районе, где так часто бывают бомбардировки и обстрелы, он постарается нас перевести в другой более спокойный район. Нам с бабушкой он очень понравился. Бабушка вышла его провожать в переднюю, где горел только один ночничок.

Когда по радио объявили отбой воздушной тревоги, мы стали собираться домой наверх. Обнаружилось, что бабушкиного мешочка нет. Уже после войны я слышала, как дедушка уверял, что он никого к нам с визитом не посылал. Но тогда, в начале месяца, потеря продуктовых карточек была трагична – ведь восстановить их было невозможно. Представляю, каково было бабушке. Главное, продать или обменять на еду было нечего. Тем не менее бабушка пошла на расположенный близко от нашего дома Мальцевский рынок, сняла с пальца обручальное кольцо и обменяла его на буханку хлеба и запечатанную банку с повидлом. К сожалению, это оказалось совсем не повидло, так что обмен был не очень выгодный, но, тем не менее, мы дотянули до следующего месяца, а там нам выдали новые карточки.

Еще один запомнившийся эпизод. Уже весна. Мы не спускаемся по тревоге ни в бомбоубежище, ни к Розенфельдам, а лежим вместе в кровати под одеялом. Ничего не хочется делать, под одеялом тепло и уже даже есть не хочется. Бабушка мне читает стихи. У нее была великолепная память, мне кажется, она всю классику знала наизусть, кроме того, очень многие не звучащие по радио русские народные песни и хороводные игры – вот что значит образование в Смольном институте (бабушка закончила институт с медалью, второй по успеваемости в выпуске, у нее даже была подписанная императрицей Марией Федоровной, патронессой этого заведения, похвальная грамота, я сама ее видела, но, к сожалению, не сберегла).

У меня были любимые произведения, и я просила бабушку читать их снова и снова. Мне очень нравились баллады Жуковского, особенно страшные, как про епископа Гатона:

Было и лето и осень дождливы,
Были затоплены пажити, нивы.
Хлеб на полях не созрел и пропал.
Начался голод, народ умирал.

А дальше про то, как жадный епископ не захотел делиться своими запасами, на него напали крысы, он от них прятался в каменном замке, но крысы прогрызли камень и съели Гатона.

Или его перевод Шиллера:
Кто скачет, кто мчится под хладною мглой?
Ездок запоздалый, с ним сын молодой.
К отцу, весь издрогнув, малютка приник,
Обняв его, держит и греет старик.

Кстати, очень красивая баллада. Я бы на месте мальчика не боялась бы, а ушла к лесному царю в слитые из золота чертоги, где струятся жемчужные струи и играют его прелестные дочери.

Еще на меня большое впечатление производила баллада, по-моему, Пушкина:

Три дня купеческая дочь Наташа пропадала,
А на четвертый день домой она без памяти бежала.
С расспросами отец и мать к Наташе с тали приставать.
Наташа их не слышит, молчит и еле дышит.

Это про разбойников. А еще его же стихотворение «Прибежали в избу дети, второпях зовут отца: тятя, тятя, наши сети притащили мертвеца....». Страшное, но интересное.

Но самыми любимыми было два коротких стихотворения – одно Лермонтова, другое – не знаю, чье. Пишу их по памяти, наверное, что-то перевираю, не помню, чтобы я их сама когда-то перечитывала в напечатанном виде.

Когда волнуется желтеющая нива,
И светлый лес дрожит при звуке ветерка,
И прячется в тени малиновая слива
Под тенью трепетной зеленого листа.
Веселый ключ стремится по оврагу,
И навевая в душу мне какой-то сладкий сон,
Лепечет он таинственную сагу
О тех краях, откуда мчится он.
Тогда смиряются души моей порывы,
Тогда расходятся морщины на челе.
И радость я могу постигнуть на Земле,
И в небесах я вижу Бога.

Ничего себе, стихотворение, интересное для пятилетнего ребенка! Но мне оно казалось очень вкусным, в нем были такие чудесные слова, как малиновая слива и саго.

А второе стихотворение было просто красивое, от него веяло какой-то русской патриархальной стариной:

Что затуманилась зоренька ясная, пала на землю росой?
Что призадумалась девица красная, очи блеснули слезой?
Жаль мне покинуть тебя одинокую, петел ударил крылом.
Поздно, дай чашу глубокую, вспень поскорее вином.
Время. Веди ты коня мне любимого, крепче держи под узцы,
Едут с товарами в путь из Касимова Муромским лесом купцы.
Есть для тебя у них курточка шитая, шубка на лисьем меху,
Будешь ходить ты, вся златом залитая, спать на лебяжьем пуху.
Много за душу твою одинокую, много я душ погублю.
Кто ж виноват, что тебя, черноокою больше, чем душу, люблю.

И вот так мы лежим, наслаждаемся поэзией, и вдруг свист, грохот, вылетают из окон стекла – это в дом напротив (Греческий 12) попал артиллерийский снаряд, образовав в стене дыру размером в полтора этажа (четвертый и пятый этажи). Пришлось встать, посмотреть на раззор, убрать разбитые стекла. Вероятно, это уже была весна, особого холода не было. Вышли на балкон. Он был весь завален штукатуркой, принесенной взрывной волной. Бабушка взяла ведро, стала убирать, и среди обломков обнаружила жестяную банку прованского масла. Как потом она говорила, именно благодаря ей мы остались живы. Наверное, это произошло вскоре после исчезновения того самого мешочка, потому что сомнительно, что нам на двоих на целый месяц могло хватить одной буханки хлеба. Что такое прованское масло – я до сих пор не знаю.

Весной 1942 года жить стало полегче. Увеличились продуктовые нормы, появились местные овощи, съедобные травы. Наш дом на улице Некрасова 60 с двух сторон окружен газонами, две другие стороны выходят на улицу Некрасова и Греческий проспект. Все газоны не только у нас, но и во всем городе, были чем-то съедобным засажены.

Обстрелы и налеты продолжались, но, как мне кажется, в городе был порядок, мусор куда-то убирали, после каждого обстрела приходили бригады молодых девушек проверять, нет ли раненых, если в дом попадала бомба, проводили раскопки развалин.

Бабушка все время была занята на общественных работах. Мне было строго настрого велено никуда из дома не убегать, ни к кому не ходить, ничего не брать, не выбегать на ту сторону дома, которая опасна при обстреле – а это на улицу Некрасова напротив садика Прудки.

Я была очень живой, жизнерадостной, любопытной девочкой, к сожалению, совершенно непослушной. Носилась по всему дому, и вот однажды во время воздушной тревоги выбежала из парадной как раз на улицу Некрасова. Яркий солнечный день. На той стороне улицы вдоль садика шел человек. Вдруг свист, вихрь, он, как мне показалось, прошел два шага без головы и упал. Было страшно.

Ребятишек во дворе не было, играть было не с кем, так что я, в основном, просто бегала. На одном из газонов недалеко от нашей парадной какое-то время лежала огромная неразорванная бомба, огороженная тонкой веревкой, привязанной к четырем вбитым в землю колышкам. Говорили, что это фугасная бомба. Она занимала практически весь газон, была длинной не меньше трех метров. Мне непонятно, как она могла так аккуратно лежать на газоне, ничего не повредив вокруг. Конечно, я на нее не лазила, а аккуратно обходила мимо.

Запомнился мне один любопытный диалог. Какая-то женщина высунулась из окна примерно с пятого этажа на нашей стороне, и ласковым голосом зовет: «Девочка, иди ко мне, я тебе дам конфетку». Я ей в ответ: «Нет, не пойду, вы меня съедите». По-моему, это была Нелли Осиповна, хотя может быть и не она.

Помню редкие прогулки с бабушкой, и в частности, на Невский. Мы стояли на мосту через Фонтанку. Скульптуры Клода «юноша с конем» были сняты с пьедестала и стояли прямо на земле. Я с восторгом старалась забраться на коня, бабушка же меня все время оттаскивала и говорила – «Осторожней, ведь это произведение искусства, ты можешь повредить его». Особых разрушений на Невском я не заметила, во всяком случае, не помню. У Казанского собора (и как мы добрались в такую даль, не знаю, наверное, на трамвае, ведь до войны по Невскому ходили трамваи) я с клумбы вырвала маленькую морковку и, несмотря на запрет бабушки, съела. Купол собора был закрыт маскировочной сеткой.

Эвакуация.

Следующее событие, которое я помню очень хорошо, – эвакуация из Ленинграда. Это произошло в конце 1942 года. Появился дедушка, и мы втроем направились в аэропорт чтобы лететь в Москву. Этому предшествовали скандальные сборы. Дело в том, что с собой можно было взять ограниченное по весу количество вещей. Бабушка пыталась на меня надеть как можно больше, и в частности, под зимнее пальто надеть осеннее. Я отбивалась всеми силами, никакие уговоры на меня не действовали, попытки убедить взрослых, что мой медвежонок важнее демисезонного пальто, не увенчались успехом. Я зареванная и злая пришла в аэропорт. Там перед посадкой всех проверяли, взвешивали сумки, пропуская через контрольный пункт. Я с удовольствием проверяющему нас строгому контролеру в военной форме сообщила, что **она** заставила меня одеть два пальто и продемонстрировала его. Бабушка была очень сконфужена, контролер улыбнулся и нас пропустил.

Мы садились в маленький грузовой самолет. В нем вдоль бортов были расположены скамейки, а по середине – возвышение, над которым был прозрачный открывающийся люк. Во время полета на этом возвышении стоял военный с пулеметом или автоматом и смотрел в небо. Других окон в самолете по-моему не было. Пассажиры расселись на скамейки, их было примерно человек 25-30, и самолет с ревом взлетел. Это был мой первый в жизни полет, было очень интересно, я не могла усидеть на месте, все время ходила вдоль скамеек взад-вперед, держала военного за брюки и просила: «Дядя, дай посмотреть». Он безотрывно смотрел в бинокль и мне не отвечал. Вдруг самолет стало качать. В начале мне это очень понравилось, но потом я заметила, что взрослые ведут себя просто неприлично – они плюют в какие-то мешки, а некоторые достали горшки. Самое неприятное то, что также некрасиво себя вели дедушка с бабушкой. Самолет сильно качало. Пришлось и мне сесть на свое место. Я все ждала, чтобы

военный застрочил из своего пулемета, но за общим гулом я ничего не услышала, так что не знаю, участвовал ли наш самолет в бою, но для себя решила, что потом буду хвастаться, как мы мужественно сражались в небе с фашистами.

Как приземлились в Москве – не помню, во всяком случае без каких-либо эксцессов. Я была преисполнена гордостью, что лучше всех перенесла полет, меня совсем не тошнило, значит я самая крепкая. Остановились мы на квартире дедушкиного товарища профессора Ричменского. Мне постелили постель на раскладушке в столовой. Я залезла в буфет, там в вазочке лежали шоколадные конфеты. Я решилась взять без спроса одну – ведь не заметят. Конфета оказалась очень вкусной. Не удержалась и стащила еще одну, а чтобы не заметили, спрятала фантик под матрац. Конфеты оказались слишком вкусные, и в конце концов я их все съела, аккуратно спрятав фантики под матрацем.

Москва мне показалась абсолютно мирным городом, мы ни разу не слышали сирены воздушной тревоги. В Академии наук нам дали путевки в санаторий Боровое, находящееся на границе Казахстана и Акмолинской области. Мы сели в поезд и поехали через всю Россию на восток.

Вагон был вполне приличный, но поезд шел очень медленно, останавливался на каждом разъезде, пропускал встречные поезда, груженные оружием и солдатами. Они ехали на фронт. На станциях пассажиры выходили из вагонов, покупали разные продукты, которые местное население подносило к поезду. В основном это была теплая, чудесно пахнущая вареная картошка. Бабушка бегала с чайником за кипятком, мне же было велено из вагона не вылезать, а то поезд уйдет, и я потеряюсь. Но я конечно не слушалась и на каждой остановке выбегала из вагона. «Вы из Ленинграда?» – спрашивали меня. Я с гордостью говорила – да, и мне совали горячие пирожки, отварную картошку, еще какие-то вкусности. Сейчас, вспоминая об этом, я не могу сдержать слез. Действительно, вся страна знала о Ленинграде и переживала за нас. Это многого стоит... Уже потом, став взрослой, путешествуя по разным уголкам страны и общаясь с разными людьми, могу с уверенностью сказать, что везде к ленинградцам было отношение особое, какое-то уважительное.

Приехали в курорт Боровое. Вероятно, это отроги Саян. Кругом красота, холмистая местность, «пляшущие» деревья с причудливо изогнутыми стволами, рядом Щучье озеро, вдали гора Синюха, все для того, чтобы отдохнуть и наслаждаться природой. Это был курорт специально для членов академии наук и их семей. Здесь были семьи многих известных фамилий. Я помню двух очень милых девочек, по-моему Катю и Машу, внушек академика Фаворского, а также высокого очкастого мальчика Митю, внука академика Берга. Мы вместе играли, но мне они казались по сравнению со мной, через чур хорошими, уж очень послушными и воспитанными. Они не лазали по деревьям, не купались без спроса в озере, не бегали за пределы санатория.

Еще мне запомнилось Боровое необычайными грозами, однажды во время нашего там пребывания кого-то убило молнией. Уверяли, что там бывают шаровые молнии, но лично я таких не видела.

К сожалению, бабушка с дедушкой вскоре уехали в Москву. Бабушка объяснила, что отпустить дедушку одного нельзя, потому что он старенький и беспомощный (так говорила она). Решили меня оставить в Детском доме, который находился на другом берегу Щучьего озера. Не помню, чтобы я особенно переживала разлуку, наверное, в Детском доме было хорошо. Когда через какое-то время бабушка приехала меня навестить, мне было даже как-то стыдно перед ребятами, что ко мне приехали, а к ним – нет.

В детском доме всем девочкам завязывали очень красивые шелковые бантики, которые делали из американских парашютов, их просто разрывали на длинные полоски. Представляю, какие красивые и разноцветные были американские парашюты. Еще нам, как американские

подарки, давали большие куски шоколада. Но шоколад был горький и нам не нравился. Зато им было очень хорошо бросаться друг в друга, правда, если в тебя попадали, то было больно.

Помню, что однажды какой-то мальчик попал мне по коленке коробочкой из-под ваксы. Началось воспаление, меня поместили в изолятор, поставили диагноз «воспаление коленной чашечки». Долго лечили, но нагноение не проходило. Сказали, что придется удалять ногу. Я лежу, напуганная, в изоляторе, и вдруг ко мне привели какую-то незнакомую женщину, сказали, что это моя мама. Это был, наверное, конец 43 или начало 44 года. Мне было 6 лет, и я уже сформировалась как достаточно взрослая особа.

Мама оказалась худенькой, маленькой, беззащитной, все время плакала и обнимала меня, а мне это не нравилось. Как потом выяснилось, бабушка не зря ездила в Москву, ей удалось выхлопотать, чтобы маме изменили место ссылки, вместо Удмуртии (город Сарапул) перевели ее в Акмольнинскую область.

Бабушка все умела, все могла. Когда она приезжала в Боровое, она оформила мое удостоверение. Мне выдали новые метрики, по которым бабушка и дедушка были моими мамой и папой. Однако у меня сохранились не только фамилия и имя, но и отчество Георгиевна, потому что дедушка хоть и был Гришей, но все его звали Георгий Дмитриевич.

Мама устроилась (бабушка ее устроила, а сама снова уехала в Москву) работать в Боровом и забрала меня, такую больную, хромую, из детдома. Вылечила она меня спиртовыми компрессами.

Я, конечно, не была подарком. Маму я совершенно не слушалась, однако со мной никаких экстремальных событий не происходило. Однажды мама принесла домой маленький пушистый коричневый клубочек с торчащим вверх прутиком. Мама вымыла его в теплой воде – это оказался маленький, худенький, похожий на мышонка котенок. Она завернула его в полотенце и положила сохнуть на теплую печку. Вскоре оттуда выкатился снова пушистый клубочек с торчащим прутиком. Мы назвали кошечку Пуськой. Ничего более очаровательного в своей жизни я не видела. Выросла настоящая сибирская красавица, исключительно приятная в обращении.

Наступила весна, природа дружно просыпалась, кругом было полно подснежников синих и белых, потом я узнала, что их называют прострел или сон-трава. Красота.

Часто грохотали грозы. Мама очень просила меня не выбегать на улицу, объясняла, что ей страшно одной. Аргумент на меня подействовал, я почувствовала себя сильной и способной спасти слабого, уговорила маму вылезать из-под кровати и не бояться подходить к окну. Как-то она сидела у окна и вязала мне носки. Вдруг раздался сильный удар, и я видела, как между мамиными спицами проскочил электрический разряд. Впечатлило.

Пришло лето, жаркое и солнечное. Маму кто-то позвал в горы за ягодами, и она оттуда притащила огромную корзину настоящей лесной ароматной клубники. Как она ее дотащила – не представляю. Вкуснятина невероятная, запах – потрясающий, ничего похожего за всю свою дальнейшую жизнь я не видела.

Но бабушка в Москве не дремала – осенью Люсеньке надо поступать в первый класс, пора возвращаться домой. Она выправила для нас с мамой документы, а ведь вернуться в Ленинград в 1944 году было совсем не просто, нужно было как минимум иметь вызов родственников и справку о том, что есть жилье. Кроме того, нужно было добиться для мамы отмены ссылки.

Ехали поездом, все на запад. Для Пуськи сделали специальную клетку, но она всю длинную дорогу была очень напугана, даже ничего не ела, пила только воду. Проезжали через Акмольнинск, где была в эвакуации тетя Дуся с семьей. Она с нами в город отправила Геню, ведь ему тоже пришла пора поступать в первый класс, а сама с маленькой Риммой еще на год осталась в Акмольнинске.

Нам с Геней было весело, смотрели в окно, а когда наш поезд обгонял военный состав с танками и пушками, хвастались друг перед другом, кто больше насчитал вагонов.

Возвращение в Ленинград.

Приехали в Ленинград, по- моему, на Витебский вокзал. Но сразу в город не пустили – всех нас и наши вещи направили на санобработку, чтобы не занести с собою вшей или еще какую-нибудь заразу. Вещи все пропаривали при высокой температуре, нам голову мазали керосином, а потом, дав кусок специального вонючего мыла и мочалку, запускали в горячую баню. Было хорошо, потому что в поезде за всю дорогу мы не мылись, а ехали мы не меньше недели. Вышли на набережную Обводного канала. Вокруг ни одного уцелевшего дома, сплошные развалины. Это произвело сильное впечатление – вероятно немцы с особым усердием бомбили вокзалы. Наш же дом на улице Некрасова уцелел, на стенках были только отдельные выбоины от осколков, как оспины.

Зашли в нашу огромную пустую квартиру. Стекла во всех окнах, за исключением кухни, в которой окно выходило во двор, были выбиты. В ней-то мы втроем и поместились. Сначала электричества не было. Мама нас не пускала в темный коридор, где находились ванна и туалет – боялась, что там может находиться какая-нибудь неразорвавшаяся бомба, или пробоина в нижнюю квартиру, потому что там, вдалеке, виднелась какая-то светлая точка. Как потом обнаружилось, это горела в туалете не выключенная за долгое время нашего отсутствия маленькая лампочка от карманного фонаря. С электричеством жить стало веселее. Мы убрали осколки стекол и обломочный мусор. Мебель, картины и люстра были не поврежденными, но все равно жить в этих холодных, пустынных комнатах не хотелось, ждали возвращения из Москвы дедушки и бабушки.

Нас с Геней мама записала в школу – его в мужскую 155 на Греческом проспекте, а меня – в женскую 178 на углу Мытнинской улицы и 9-ой Советской. В те годы, а это был 1944, обучение было раздельное для девочек и мальчиков.

В нашем 1-ом классе девочки были разных возрастов – от 7 до 10-12 лет. Во всем чувствовалась разруха, не хватало букварей, не было тетрадей, многие писали на вырванных из разных тетрадей относительно чистых или частично исписанных и скрепленных нитками листах. Мне кажется, у одной у меня были нормальные школьные тетрадки с косыми полосками, специально для первоклассников. Я из них вырывала листы и давала другим девочкам.

И одеты все были очень скромно, даже бедно. Мало у кого были форменные платья и переднички, да это и не требовалось. Нашу учительницу звали Марья Ивановна, мне она нравилась потому, что она редко делала замечания и позволяла нам в классе болтать и вертеться. Как мне кажется сейчас, на всем еще лежал отпечаток войны. А ведь война на западе в самом деле все еще шла.

Дома мы с Геней баловались, прыгали, бегали, маму совсем не слушались, зато слушали радио, распевали песни, следили за военными событиями, продвижениями наших войск уже по Европе. У нас было даже нечто вроде соревнования. Мы тщательно следили, войска под чьим командованием продвигаются вперед. Геня болел за маршала Рокоссовского, а я – за Черняховского, И обоим нам не нравилось, что слишком часто по радио говорили о маршале Жукове. Кстати, мы оба возмущались, когда слушали о действиях союзников в Европе – считали, что они – просто трусы, которые открыли второй фронт (высадка в Нормандии в июне 1944 года) только тогда, когда мы могли победить фашистов и без них, а так – все только обещали и тянули со сроками. Вот какими мы были юными патриотами.

Ну вот наконец-то в начале 1945 года из Москвы вернулись дедушка с бабушкой. В квартире появились рабочие – три девушки, вставили стекла, поклеили новые обои, исправили электрику, починили водопровод. Во всем доме велись восстановительные работы. В ванне поставили колонку, отапливаемую углем. Появились уголь, дрова, причем у нас в подвале было свое специальное место для их хранения, а на чердаке дома – специальные веревки для сушки белья. Сушить белье на балконе, хоть он и выходил в так называемый собственный двор, а не на проезжую улицу, в те времена было не принято.

Бабушка всячески пыталась возобновить уклад довоенной жизни. У нас появилась домработница – пожилая молчаливая женщина, которая приходила к нам в определенные дни. Маму бабушка устроила на работу в институт переливания крови лаборанткой, меня перевела в другую 156 школу поближе к дому и, с ее точки зрения, более хорошую. Действительно, в этой школе уже не было той вольницы, что в 178. Учительница Лидия Терентьевна была не просто строгой, а злой. Меня часто выгоняла из класса за всякие мелкие прегрешения, появился дневник, в котором она чуть-ли не каждую неделю писала замечания и вызывала бабушку в школу. После уроков за мной всегда приходила бабушка, она была членом родительского совета. Меня такая опека огорчала, но я ничего не могла с этим поделать.

Девятого мая 1945 года я не помню, хотя, несомненно, было народное ликование. Постепенно жизнь стала налаживаться. Помню, что первое время в городе появилось много покалеченных войной безруких и безногих в потрепанных военных формах. Конечно, смотреть на них было жутко, даже как-то стыдно, что ты бегаешь веселый и здоровый, а они... Однако вскоре их практически не стало. Потом я узнала, что их централизованно вывезли подальше от Ленинграда на остров то-ли Соловки, то ли Валаам (теперь уже забыла), где специально для одиноких инвалидов был открыт санаторий для их пожизненного проживания. Через несколько десятков лет, когда я ездила туда (на Валаам) на экскурсию и любовалась природными красотами и монастырскими строениями, экскурсовод приподнес это событие как типичное нарушение в Советском Союзе прав человека. Однако в те послевоенные времена я так не думала (впрочем, также, как и теперь).

Тем временем город интенсивно ремонтировался, очень быстро исчезли развалины. На улицах, мне кажется, весь день работал репродуктор, по нему звучали бодрые песни, создавая соответствующее настроение.

В нашем доме в первом дворе (а их всего было четыре) открыли ЖАКТ (как это расшифровывается – не знаю, что-то вроде строительно-эксплуатационной компании), который ведал в частности распределением по квартирам угля, дров, уборкой лестниц и дворов, учетом жильцов и т.п. Помню, на стене двора на видном месте висел не на бумаге, а на металлической доске, напечатанный крупными буквами список квартир и фамилии проживающих в них жильцов (в теперешние времена даже трудно представить, что такая публичность возможна).

К нашему дому были прикреплены персональный дворник тетя Катя и ее брат – водопроводчик. Они жили в комнате на первом этаже и к ним в любой момент можно было обратиться за помощью. Они, мне кажется, знали в лицо всех жильцов.

В нашем семиэтажном доме было 8 парадных (это вход с улицы) и примерно столько же внутренних лестниц, и все это убирала одна тетя Катя, а по вечерам, примерно с 10-11 часов, она закрывала все парадные двери и ворота на ключ и сидела в тулупе у определенной парадной. Чужим мимо нее просто так было не пройти. Нас, ребятишек, она знала в лицо, частенько гоняла с газонов, где мы играли в ножечки, а ее брат, который ей иногда помогал и поливал газоны из шланга, частенько поливал и нас к нашему огромному восторгу. К нему также обращались с просьбой принести из подвала дров или угля.

Первое время лифт не работал, но каждое раннее утро почтальон – маленькая сгорбленная женщина тетя Лина с огромной заполненной корреспонденцией сумкой через плечо разносила по квартирам газеты и письма. В те времена было принято выписывать на почте газеты и журналы, а их разносили почтальоны, так что ко времени ухода утром на работу в институт, дедушка за завтраком всегда просматривал свежую газету. Причем бывало, что если в течении дня на почту к адресату приходило какое-нибудь новое поступление, то тете Лине приходилось снова возвращаться со своей сумкой.

Также без лифта с огромным тяжеленным бидоном на спине по нашей лестнице какое-то время ходила молочница.

Вероятно, это все еще какие-то довоенные отголоски. Достаточно скоро в доме включили горячую воду, отопление, лифт, молочница перестала ходить. Вероятно молоко теперь можно было купить и в магазине, хотя бытовая часть жизни меня не касалась – я по-прежнему оставалась беззаботной и жизнерадостной, бегала, прыгала, под надзором и давлением бабушки училась. Она принялась было обучать меня игре на фортепиано, благо у нас было Левушкино пианино марки Дидерих (а это очень хорошая марка). Но все ее старания были напрасны. Я очень хорошо помню, как мы с ней сидим за пианино в огромной, еще холодной столовой, разучиваем гаммы. У меня мерзнут руки, хотя мне бабушка одела специальные перчатки без пальцев – митенки. Я их подгибаю, чтобы отогреть, дую на них, всем своим видом показываю бабушке, что это пытки, объясняю, как я ненавижу все гаммы, втихаря уничтожаю ноты. Бабушке пришлось сдаться. Кстати, лет через десять я ей пеняла на то, что у нее тогда не хватило упорства заставить меня заниматься музыкой.

И все же жизнь постепенно налаживалась. На улицах уже редко можно было встретить людей в ватниках или каких-нибудь обносках, появлялись и нарядные женщины, летом из открытых окон часто звучал патефон, особенно это было характерно для нашего двора Собки. Тем не менее я очень хорошо помню такой эпизод: бабушка из Москвы привезла мне очень красивое красное суконное пальто, красные кожаные ботиночки и красный берет. Она была уверена, что я буду в восторге и все это мне очень понравится. Как я теперь понимаю, ей это достать было очень нелегко. Но я наотрез отказалась даже примерять эту роскошь – мне было стыдно появиться в таком виде перед знакомыми девченками. Никакие уговоры не подействовали, и я по-прежнему бегала, как и все, в старых поношенных одеждах.

В один из летних воскресных дней мальчишки побежали смотреть, как на площади Урицкого вешали немецких генералов, приговоренных по суду к смертной казни. Говорят, было много народу, но мне это даже тогда казалось страшным, и я к ним не присоединилась. Я, конечно, ненавидела фашистов, но когда они были побеждены и обратились в реальных людей, моя ненависть куда-то испарилась...

Так, в школу я каждый день ходила по левой стороне 9-ой Советской. Вероятно, до войны там было какое-то длинное кирпичное здание заводского типа. За войну оно было разрушено чуть-ли не до основания. Ремонтировали его пленные немцы. Ни у меня, ни у кого из моих подружек, да и вообще у прохожих они не вызывали враждебного отношения – это были изможденные, худые, усталые, одетые в рваную военную форму мужчины, которые мне все казались на одно лицо. Однажды один из них подошел ко мне и на ломаном русском языке попросил еды. Я отдала ему свой школьный завтрак – два бутерброда с маслом. И такое происходило неоднократно. Мне их было жалко. Пленные быстро восстановили двухэтажное здание барачного типа, покрыли его штукатуркой. Оно и до сих пор стоит, отнюдь не украшая улицу.

В войну и ненавистных фашистов мы продолжали играть дома – приходили мои школьные подружки, мы носились по нашей огромной квартире с воинственными лозунгами, прятались в засады, с криком ура разили под дедушкиным письменным столом притаившегося фашиста в облике барса. Кроме того, у нас в квартире между столовой и спальней родителей (то есть бабушки и дедушки) была повешена веревочная лестница, по которой было очень здорово лазать вверх и вниз, раскачиваться и петь боевые песни. Я, как уже отмечалось ранее, пела очень хорошо, во всяком случае громче всех, поэтому когда бабушка иногда просила меня – «Люсенька, прекрати так орать», я на нее обижалась.

В наших играх деятельное участие принимал и Геня, но уже к концу 1945 года вернулась из эвакуации тетя Дуся вместе с маленькой Риммочкой и забрала его к себе.

Школа.

Игры – играми, но пришло время и учиться. В школе занимались мы то в первую, то в вечернюю смены, так как в послевоенном городе активно увеличивалось население и школ не хватало. По всей стране было введено обязательное 7-ми классное образование, после кото-

рого выпускник мог поступить в техникум или училище, или учиться в школе еще три года, получить аттестат о среднем образовании и уже с ним поступать в институт. Только к началу 50-х годов в стране было введено обязательное среднее образование.

Конечно, в ранние школьные годы так далеко я не заглядывала. Школа была стабильным местом, где из нас, таких разных, формировали единый коллектив, придерживающийся широко распространенных и пропагандируемых тогда социалистических принципов – дружбы, равенства, справедливости, взаимопомощи. Пионер – ребятам пример. Сам погибай, но товарища выручай. Неправда ли, красиво звучит. Если поступал не так, то ты понимал, что делал плохо. Стихотворение Маяковского «Что такое хорошо, а что такое плохо» целиком отражает наш взгляд на то, как надо.

Тем не менее, я не всегда поступала так, как надо, но судя по оценкам, училась довольно хорошо. Правда, для этого бабушке приходилось тратить уйму времени. Она требовала от меня, чтобы я спокойно сидела и делала домашние задания. Она даже передо мной ставила будильник, чтобы я вырабатывала в себе силу воли, и хотя бы 10 минут, не дергаясь и не прыгая, сидела на стуле. «У нее в попе шило» – вторила ей мама. Вряд ли это помогало. Сделать меня не такой брутальной смогло только Время.

Дедушка же всегда выступал в роли заступника, всячески потакал моим желаниям, из-под тишка кормил меня конфетами, которые бабушка мне не давала есть, ссылаясь на свойственный мне диатез, словом, был моим основным защитником.

Тем временем в школе жизнь текла своим чередом. Мы твердо знали, что всех нас горячо любит товарищ Сталин, он заботится о том, чтобы у нас были хорошие условия для учебы и из нас выросли хорошие и умные люди. Уже в 1946 году в нашем классе у всех девочек были единые школьные формы – коричневые платица с белым отложным воротником и черным или белым (праздничным) передником, нормальные школьные тетради. В школьной библиотеке нам выдавали учебники, которые надо было к концу года сдать обратно. Поэтому учительница следила за тем, чтобы мы обращались с ними бережно. Кстати, семьям с низким достатком раздавались талоны на бесплатное приобретение школьных форм и обуви и это казалось естественным.

Лидия Терентьевна водила весь класс на какие-то экскурсии, организовала октябрятские, а потом и пионерские отряды, руководила нашей общественной жизнью.

И все же основные мои интересы в то время были связаны не со школой, а с улицей. После школы свободное время я проводила в нашем собственном дворе, как мы говорили, Собке, в компании с девочками нашего класса, которые жили в наших домах – Наташей Чернышовой, Милой Чуприна, Таней Зубченко. Все они были моими ближайшими подругами. В наших играх участвовали также девочки- ровесники из других школ. Были и какие-то мальчишки, но они, если можно так выразиться, не являлись ядром нашего коллектива. Без конца скакали через веревку на вылет и через скакалочку на счет, играли в классики, на газоне – в ножечки, в мяч в наганялы, штандер, и, конечно, в лапту. Иногда, когда набиралась большая команда, играли в прятки и казаки-разбойники.

Из открытых окон соседних домов неслись граммофонные звуки популярных песен, облокались на подушки, за нашими играми наблюдали жильцы.

Помню, зимой в школе в младших классах были уроки труда, и нас, в частности, обучали шитью. Как-то мне на дом задали сшить ночную рубашку. Этим заниматься мне совершенно не хотелось, тем более, что на дворе поставили две ледяные горки, было полно моих друзей и было очень весело. Бабушка пригласила к нам домой знакомую портниху, и она на руках, а не на машинке, выполнила мое задание. На утро я без малейшего стыда отнесла рубашку в школу и выдала за свою работу. Конечно, в школе при таком отношении к шитью я ничему не научилась, но в последствии, когда у меня самой появились дети, при необходимости я могла кое-что смастерить сама.

Как я уже отмечала, училась в школе я довольно хорошо. Однако бабушке этого, конечно, было недостаточно. Особенно ее не устраивали мои знания по русскому языку и литературе. Действительно, в средних классах их нам преподавала учительница облика пожилой дореволюционной дамы. Видимо, она была так напугана идеологическими требованиями, что даже мне, на то время жизнерадостному, вольнолюбивому подростку, некоторые ее высказывания казались чуждыми. Например, она горячо уверяла, что это Пушкин влиял на творчество Байрона, а не наоборот. У нас в классе был даже собран список отдельных ее наиболее ярких цитат. Например: «Выбитый зуб Давыдова делает его речь понятной народу», «Он хотел, чтобы и куры жили в колхозе» (это из Поднятой целины), или «Мадам Бовари была просто маленькой буржуйкой» (о романе Флобера), и тому подобное.

На уроках я была, в основном, занята тем, что тщательно срисовывала карандашом иллюстрации из учебника – картины классиков. Мне нравилось, как это у меня получалось, ну а вопросы орфографии и пунктуации меня вовсе не интересовали. Когда я сказала об этом бабушке, та решила, что для меня необходимы дополнительные занятия. Она договорилась с жившей в нашем доме бывшей учительницей русского языка, Надеждой Ивановной Чеботаревой, тоже очень пожилой женщиной, и я к ней три раза в неделю ходила домой. Она жила в большой комнате, стены которой, как и у нас, были завешены старинными красивыми дореволюционными портретами ее родных. Кругом стояла красивая старинная мебель, на полках в шкафу виднелись многочисленные позолоченные корешки толстых книг. На огромном письменном столе тоже лежали книги и стояли в рамках фотографии.

Она добросовестно пыталась победить мою неграмотность, но, положив руку на сердце, теперь я понимаю, что когда ребенок не хочет, то никакой, даже самый хороший преподаватель, ничего сделать не может. Кстати, эта же учительница вела занятия и с Катей Райкиной, которая была на год младше меня, училась в той же 156 школе и жила с родителями в доме напротив. Я как-то слышала, Надежда Ивановна жаловалась моей бабушке, что Катя очень избалованная, заниматься не хочет, а прыгает по диванам и кидается подушками (то есть даже хуже меня).

Начальная школа заканчивалась после перехода в четвертый класс, вместо Лидии Терентьевны у нас уже были разные учителя и разные классные воспитатели.

В нашей школе иностранным языком был французский, а в начальных классах бабушка учила меня английскому. Я этим очень хорошо пользовалась – когда меня француженка вызывала к доске для проверки домашнего задания (а я его, как правило, не делала), я как будто бы нечаянно говорила какие-то английские слова. Обычно это производило хорошее впечатление, и в табеле по французскому у меня всегда была пятерка.

Начиная с четвертого класса, и так до десятого, каждую весну мы сдавали экзамены, причем самое обидное то, что эти переходные экзамены на следующий год отменяли. Правда, в первый год бабушка достала справку от врача, что я очень нервная и меня нельзя травмировать экзаменами. Я с ревом отказалась от такой привилегии, и все годы их сдавала вместе со всем классом.

По-моему, с 10 лет нас начали принимать в пионеры. Бабушка уверяла, что мне не надо вступать, так как я недостойна звания настоящего пионера, но я хотела, как все. Процедура была очень торжественна, я была горда и конечно первое время носила галстук с радостью. Мне тогда казалось, что все провозглашаемые лозунги добрые, справедливые и правильные. Все они имеют очень древнее происхождение, они выработаны человечеством и лежат, как ни странно, даже в основе христианских принципов.

Помню, как дома отмечали мое десятилетие. Конечно, был и торт, и свечи, и конфеты, и фрукты, а вот подарки были особенные. Бабушка с дедушкой подарили мне красивый альбом для стихов с разноцветными страницами.



В то время среди моих сверстников были распространены такие альбомы (отголоски еще Пушкинских времен), в которых девчонки писали друг другу незамысловатые стишки, типа: «Люби меня как я тебя и будем мы друзьями», или «Пусть так тихо цветет наша дружба с тобой, как во ржи золотой василек голубой, или, еще душещипательней, «Дарю тебе корзиночку, она из тростника, в ней тридцать три фиалочки и сердце моряка» и тому подобное. Ну такие стишки, которые я тем не менее помню, появятся в нем потом, а вот на первой странице моего подарочного альбома написал дедушка:

Товарищ, верь. Взойдет она,
Звезда пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна...
Твой дед.

Я была, что называется, шокирована. Неужели дедушка не понимает, что это совсем не подходит для моего альбома. Неужели он в самом деле такой старый, что уже ничего не воображает. Бабушка тоже написала что-то неподходящее по поводу того, какой она хотела бы меня видеть, но хоть в прозе.

Пришел подарок и от Левушки. Это была вручную сделанная из дерева, наверное, кедра, коричневая шкатулка для рукоделия с затейливыми выпиленными лобзиком узорами, а также нарисованная им картинка в стиле американских мультиков, на которой был изображен сидящий за решеткой грустный утенок в матросской шапочке. Внизу подпись «I want home».



Этой шкатулкой я пользуюсь и по сей день.

О своем отце я не вспоминала, потому что я его практически не видела – его арестовали, когда мне было полгода. Дома о нем при мне не говорили, а в школе, когда возникали вопросы, я спокойно отвечала стандартную и очень распространенную в послевоенное время фразу – пропал без вести, нисколько не вдумываясь в смысл этих слов. Но Левушку я, конечно, пом-

нила и спрашивала про него у бабушки. И вот тут-то я впервые столкнулась с пониманием, что в нашем мире не все уж так правильно и хорошо.

Как я потом узнала от домашних, он, выпускник Кораблестроительного института, 22 июня 1941 года на советском торговом корабле Хасан вошел в порт немецкого города Штецина, где и узнал о начале войны. Вся команда корабля была интернирована немецкими властями и помещена в специальный концентрационный лагерь, где они находились вплоть до окончания войны.

После войны вся команда вернулась домой, но Левушку обвинили в том, что он сам хотел и уговаривал кого-то остаться за рубежом, и приговорили к смертной казни за измену Родине.

Он находился в «Крестах» до утверждения приговора. Мы с мамой и Танечкой, нашей новой домработницей, веселой, разговорчивой, деревенской толстой женщиной, носили ему передачи и кричали под окнами. Из них из-за решеток выглядывали лица арестантов, махали нам руками. Может быть среди них был и Левушка, но разглядеть на таком расстоянии было невозможно. Бабушка в это время вела энергичные переговоры с юристами и адвокатами, передавались какие-то конверты. Были непрерывные телефонные разговоры. В результате приговор изменили на 10 лет лишения свободы, и Левушку послали в Сибирь в Нарильлаг, где он участвовал в строительстве порта в Дудинке и где похоронен, немного недожив до освобождения.

Выходит, такой суровый приговор был изначально неправильным, выходит за деньги его можно изменить? А если денег нет, то человека можно законно убить? Выходит, что юристы и адвокаты продажные? До сих пор я к людям этих профессий отношусь с опаской и недоверием и не хотела бы иметь с ними никакого дела.

—

В школе дела шли своим чередом. Особого интереса к наукам я не проявляла, но благодаря хорошей памяти числилась среди хорошистов и отличников. Пожалуй, с большим интересом я ходила на уроки физики, может быть потому, что мне нравилась учительница и сам кабинет физики, где находилось множество интересных и непонятных приборов, а также огромный глобус небесной сферы и портреты известных ученых. Однажды учительница рассказала нам о вечном двигателе и о невозможности его создания. Это произвело на меня сильное впечатление, и я в течение нескольких месяцев пыталась доказать, что такой двигатель возможен. Обложила какими-то умными книгами, чертежами, читала обо всех имевшихся в нашей библиотеке попытках его создания, чертила, подсчитывала, даже казалось, что мне это удалось — помню, это было что-то связанное с текущим благодаря форме рельефа потоком воды. Показала дедушке перед тем, как сообщить о своем открытии в школе, и он безжалостно указал на мои фундаментальные ошибки. После этого интерес к физике у меня совсем пропал, да и вообще, скорее бы каникулы.

В школе у нас был «живой уголок», в котором были небольшие аквариумы с различными рыбками, а также клетки с морскими свинками, белыми мышами, ежиком, кроликами различных пород и большим количеством различной зелени — настоящий живой уголок. Ухаживали за животными сами ученицы, наблюдали за их развитием, даже писали какие-то «научные» отчеты об их жизни. Я шествовала за кроликом шеншилловой породы под именем Мазай. Он был старожилем уголка, считался основоположником породы, даже имелась родословная его потомков. Он был большой и тяжелый, но мне разрешали изредка выносить его на прогулку в Таврический сад, что я делала с огромным удовольствием, так как в саду обычно вокруг нас собирались любители живой природы и я чувствовала себя важной персоной. И вот однажды, когда я на перемене заглянула в живой уголок, чтобы проведать Мазая и угостить его морковкой, обнаружилось, что Мазай родил крольчат. Был большой конфуз, Мазай стал Мазайкой, родословную его потомков пришлось уничтожить. Особенно огорчена была учительница по биологии, ну и меня ругали, что я недоглядела.

Еще много огорчений мне приносили уроки физкультуры. Оказалось, что и бегала, и прыгала я чуть ли не хуже всех. Удавались мне только упражнения на брусьях, да и то только кувырки. Поэтому я всячески старалась прогуливать занятия, за что получала двойки.

Бабушку тоже волновали мои физические данные, она все время твердила, что я как шалтай-болтай, совершенно раскоординированная. Она записала меня в Дом ученых на ритмическую гимнастику. Меня туда возили целый год. В завершении занятий был концерт нашей группы в большом зале Дома ученых – танец с лентами – на котором я, будучи на заднем плане, умудрилась запутаться в лентах и упасть. Разумеется, что о дальнейших занятиях не могло быть и речи.

Тогда бабушка, пытаясь развить во мне недостающую, по ее мнению, женственность, записала меня в кружок балльных танцев. Разучивали мы такие танцы, как па-де-патинер, па-де-грас, па-де-катор ну и конечно, вальс. Первые три танца я больше нигде не видела, но было забавно скакать в большой, красивой комнате дворцового типа с такими же неумехами.

Однако для танцев требовался партнер, а с партнерами был дефицит. Кроме того, у меня уже к тому времени стал развиваться комплекс неполноценности, приглашать на танец кого-нибудь из мальчиков мне было стыдно. Поэтому я обрадовалась, увидав среди кавалеров знакомого лопоухого длинного и нескладного мальчишку, с которым мы когда-то познакомились в санатории Широком, где я была с бабушкой и дедушкой, и первая пригласила его на танец. И это была моя большая ошибка. Он, несомненно, был самым неловким, неумелым, все время наступал мне на ноги. Но главное, он очень обрадовался нашей встрече и теперь приглашал меня на все танцы. Я поняла, что с таким партнером я ничему не научусь, но отделаться от него было невозможно. А тут еще появился очень симпатичный, хорошо танцующий мальчик, который шел ко мне чтобы пригласить меня на танец. Но мой лопоухий партнер решил его опередить. Встреча состоялась в центре зала (а рядом стояла строгая преподавательница). Я излишне горячо сказала лопоухому: «Отстань от меня, пошел прочь, паршивый дурак». Преподавательница меня за руку вывела из зала. На этом мои занятия танцами закончились.

Но бабушка не успокоилась, и к зиме записала меня на фигурное катание. Мне купили фигурные коньки, какую-то красивую спортивную одежду. Дома по паркету я училась стоять и ходить на коньках.

Наступил первый день занятий. Оказалось, что корова на льду – это про меня. Но потом я увидела на катке еще одну длинную нескладную, чем-то знакомую фигуру, которая все время падала. И, конечно, это был мой лопоухий партнер по танцам. Очевидно, что у его родителей были те же проблемы, что и у моих. Понятно, мои занятия фигурным катанием на этом закончились, и больше я в Дом ученых никогда не показывалась.

На летние каникулы мы всей семьей – дедушка, бабушка, мама и я – ездили на полтора – два месяца в какой-нибудь академический дом отдыха. Чаще всего ездили в Прибалтику, в Майори.

Условия, конечно, были шикарные – прекрасные песчаные пляжи Рижского залива, курортные домики в окружении ухоженных цветущих парков. Особенно мне запомнились огромные шапки разноцветных гортензий. По чистым дорожкам прогуливаются нарядные отдыхающие, вежливо раскланивающиеся друг с другом – прямо как в дореволюционных фильмах.

Ездили мы на экскурсию в Ригу. Такое впечатление, что войны здесь не было, во всяком случае я не помню каких-нибудь развалин, хотя возможно их так быстро залечили. Город имел ярко выраженный западный облик. От старинных замков и крепостей веяло каким-то средневековым ужасом. Экскурсовод нам рассказал, что для того, чтобы стены этих замков и соборов долго держались, в них было принято замуровывать живых девушек. Даже крохотные

окошечки показывали, через которое их какое-то время кормили, а потом – забывали. Действительно, эти замки стоят. Жуть какая-то.

Бабушка заботилась и о моем культурном развитии. Мало того, что она мне все время подсовывала определенные книги, но еще на каждый учебный год мне покупался детский абонемент в Мариинку, так что я весь репертуар как балетный, так и оперный, знала наизусть. Ходила я на спектакли с большим удовольствием, и не только потому, что мне там всегда покупали какие-нибудь вкусности в буфете. Мне действительно было интересно. Особенно мне нравились балеты. Неизгладимое впечатление произвела постановка «Спартак» с Баланчивадзе.

Позже появился абонемент в Михайловский театр. Здесь мне балеты совершенно не нравились вероятно потому, что в их постановке чувствовался отход от классики. Зато очень интересно ставились оперы, которых не было в репертуаре Мариинки. К симфонической музыке я была довольно равнодушна, поэтому мне покупался абонемент только в малый зал филармонии.

Наибольшее количество театральных спектаклей обычно было приурочено к зимним каникулам. В зимние же каникулы обычно стояли морозы за 30°, и было очень обидно, так как при температуре ниже 27° занятия в школе и так отменялись. На улице не очень-то погуляешь, поэтому основное время я проводила дома за книжками и пластинками. У меня был патефон, со временем заменившийся на электропроигрыватель, и большая, все время пополняющаяся коллекция пластинок.

В 1950 году мы на лето поехали в Комарово. Там на улице Танкистов (это на границе с Зеленогорском) нам был предоставлен большой двухэтажный дом с огромным лесопарковым участком. В нем мог бы спокойно находиться пионерский лагерь – там были и спортивные площадки (в частности, площадка для игры в крокет), и тенистые дорожки. Был настоящий лес, был гамак, были грядки с клубникой, которыми мы могли пользоваться. Был также маленький домик для сторожа, который тот, в свою очередь, сдавал дачникам. В том году дачниками были родители Вали Беловой.

Нас с ней сблизило то, что нам обоим очень нравился Лермонтов, да и вообще стихи. Мы в лицах читали Демона (Демоном, конечно, была я, а она – Тамара). С тех пор и по сей день между нами, такими разными, существует определенная душевная связь. Я могу смело сказать, что она мне родная, несмотря на то, что ее неординарность нередко раздражает и с ней я конечно не делюсь самым сокровенным (а есть ли оно?). Но и она мне, и я ей свои стихи читаем. Долгие годы она оставалась моим основным театральным спутником.

Смерть дедушки.

Пребывание в Комарово закончилось очень быстро – у дедушки произошел инфаркт, его увезли в больницу в ГИДУВе, где он вскоре и умер. Мне было очень жаль дедушку, ведь он всегда заступался за меня, очень любил, делал всякие маленькие подарочки и втихаря баловал конфетами, против чего всегда восставала бабушка, так как у меня была золотуха.

Бабушка была очень грустная, так что я, вообще то еще та эгоистка, понимала, что мне надо быть с ней рядом. Между прочим, они всегда называли друг друга Люлечка и Гришенька, я никогда не слышала, чтобы они ссорились, бабушка всегда провожала и встречала его с работы, завязывала ему галстук, следила, чтобы у него была свежая рубашка. А уж какой она была ему помощницей по работе... На его письменном столе раскладывала нужные бумаги, переводила с иностранных языков приходившие к дедушке различные письма и статьи (она знала как минимум три, а может и больше, языков), подбирала необходимую ему литературу, даже составляла расписание его встреч и лекций. В общем, была ему настоящим секретарем.

После смерти дедушки у нее осталось лишь два близких человека – сын Левушка, который отбывал наказание в далеком Норильлаге, и я, которая была рядом. Левушке она регулярно писала письма и отправляла посылки с продуктами и вещами. Она даже отправила ему

туда очень красивый большой аккордеон – ведь Левушка очень скучал без музыки. Он был очень рад, и там даже участвовал в самодеятельных концертах.

Похороны произвели на меня неизгладимое впечатление. В те времена было возможным при похоронах выдающихся людей (а дедушка, вероятно, относился именно к таким) проводить по улице траурное шествие.

Провожающие с цветами под звуки оркестра, исполнявшего траурные мелодии, шли за гробом, который везли покрытые траурными попонами лошади, по Кирочной от ГИДУВа, где в зале Ученого совета происходила панихида, до Охтинского кладбища. Как хорошо, что в скором времени такие скорбные церемонии были отменены.

После смерти бабушки в нашей жизни произошли существенные перемены. Прежде всего, это коснулось квартиры. Для нас, троих, метраж квартиры был слишком большой. Нам предложили переехать в трехкомнатную квартиру в Сталинском доме на Московском проспекте, но бабушка отказалась. Ей казалось немыслимым уехать из квартиры, где прошла большая часть ее жизни и куда, она верила, скоро должен вернуться из лагерей ее сын. Она предпочла сделать в квартире перепланировку и отдать две комнаты (дедушкин кабинет и Левушкину комнату, где мы жили с мамой) стоявшему на очереди сотруднику ГИДУВа профессору Попову Н.А. и его супруге Галине Александровне.

Так наша квартира стала коммунальной, а сам выбор оказался крайне неудачным. Ну об этом потом. Но самым важным для меня стало то, что я поняла – бабушка смертна – и я за нее в ответе, то есть кончилась моя полная беззаботность. Я хоть немного повзрослела.

По-прежнему, материальная сторона жизни меня нисколько не касалась, но внутри поселился какой-то страх, я уже не могла так беззаботно бегать во дворе, совершать рискованные поступки, озорничать в школе, хотя все это все же, конечно, было.

Каникулы в Витово.

Изменились и мои летние каникулы, их я стала целиком проводить в деревне Витово (крайний юг Ленинградской области) вместе с тетей Дусей и ее семьей – с братом Геней и сестренкой Риммой.

Конечно, было раздолье. Тетя Дуся нас не притесняла. Жизнь была самая простая – спали на сене, питались сугубо экологически чистыми продуктами – так, на ужин на столе стояла кринка молока и каравай испеченного в печи душистого хлеба, на обед – окрошка с огородными овощами, печеная картошка со свежепросольными огурцами и ягоды со своих кустов.

Гуляли до ночи. У нас было свое излюбленное место – горка, где когда-то находился сад помещика Штырина, а от него сохранился лишь заросший осокой и раkitами пруд. Место было красивое, открывался прекрасный вид на деревню и на окружающие ее луга и леса.

Деревушка была маленькая – домов 15-20. Во время войны там были немцы, все местные жители опасались их, впрочем, и партизан – тоже. Наша баба Паша со своей младшей 16-ти летней дочкой Тоней пряталась в лесу в землянке на всякий случай. Ведь всем надо было есть, и немцам, и партизанам, поэтому местное население боялось грабежей.

Когда немцы отступали, они решили сжечь всю деревню. Но некоторые бабы на колени просили, чтобы их дома пощадили. Таким образом, в деревне осталось четыре довоенных дома, все остальное – новодел. С учетом трудного послевоенного времени, выглядели они в лучшем случае как современные сараи. При этом наш дом был пожалуй самый уродливый – рассказывали, что дядя Ваня где-то по дешевке купил старую баню и перевез ее в Витово.



Но нас это ничуть не расстраивало – была бы крыша над головой. Причем крыши в деревне были в основном покрыты толем, реже – соломой, лишь в старых избах сохранилась деревянная черепица.

Жизнь в деревне была более или менее налаженной – каждое утро выгонялся скот, в основном козы, но были и коровы, и овцы. У нас, пока была жива баба Паша, были две козы – Анька с большими рогами и Белка – комолая, но с сережками. В полдень били в висевший на горе металлический баллон (било), звук которого разносился по округе. Хозяйки с ведрами шли в поле доить скотину. Обратное стадо возвращалось перед закатом. Впереди шла всегда определенная корова и вела остальных.

Пастухом была тетя Дуня. Ходила она всегда оборванная и грязная. Вид у нее был придурковатый, изба была очень ветхая, грязная. Я даже не представляю, как в ней можно было зимовать – в полу широкие щели, сквозь которые ее младшая дочка Тонька, наша подружка, вылиwała воду и даже писала. Печка тоже чуть держалась. Да и огород у них был весь запущенный.

Что ни говори, а даже внешне деревенские люди в те времена отличались от городских какой-то дремучестью. Правда, старики были в основном неграмотные. Но отпечаток дремучести лежал и на среднем поколении. Однако власти активно пытались повысить культурный уровень – в деревнях покрупнее (селах) обязательно, видно вместо церквей, были школы, клубы, в которых проводились лекции и иногда показывались фильмы, а по вечерам устраивали танцы. В соседней с нашей деревней Поддубье была даже неплохая библиотека. Именно там я впервые ознакомилась с журналом «Новый мир», главным редактором которого был тогда Твардовский, и в котором, как я потом узнала, печатались самые продвинутые и интересные произведения советских, и не только, писателей.

Кроме того, в этих селах были магазины, где продавались продукты и ширпотреб (без наценки), которыми пользовались жители окрестных деревень.

Однако старина не полностью исчезла из народного быта – в каждой деревне был свой пристольный праздник, на который собирались окрестные соседи. В Витово это была Казанская (в честь Казанской иконы божьей матери). По-моему она была в конце июня. К празднику все готовились. Все кругом мылось и чистилось, люди одевали праздничные одежды.

Нас тетя Дуся тоже одевала во все новое, на столе выставлялись праздничные угощения, появлялась выпивка. В деревню собирались гости, и начиналось празднование.

На улице в центре деревни собирались подвыпившие люди, звучала гармошка, начинались танцы. Большим успехом пользовалась кадриль, а также «поляночка». Это все танцы с выходами, когда отдельные пары исполняли какие-то свои па с притоптыванием и прихлопыванием. Женщины в нарядных шالях, мужчин немного, большинство, уже сильно выпивших, глазели на танцующих, отпускали всякие шуточки. Танцы перемежались с песнями типа частушек, иногда похабных, но всегда веселых.

Изредка бывали драки, но их как-то быстро пресекали. Мы только вертелись вокруг танцующих, иногда мешались, подпевали, в общем, веселились во всю. В связи с праздниками в деревне, мне все время приходили на ум стихи Лермонтова о любви и России:

А в праздник под вечер душистый
Готов до ночи я смотреть
На пляски с топаньем и свистом
Под говор пьяных мужиков.

Ну что в этом хорошего, а греет сердце и вспоминается с удовольствием. Люди были какими-то более родными, близкими.

Однажды я была в Витово и зимой, но это было в старших классах. Я упростила бабушку отпустить меня в деревню на зимние каникулы. Баба Паша к тому времени уже умерла, но в нашей избе зимой жила другая одинокая знакомая бабушка.

Впечатления были огромные. У меня с собой был рюкзак и лыжи. Договорились, что до Луги я доеду на поезде, а оттуда порядка 30 км я поеду на такси, так как автобусы тогда еще не ходили. Но брать такси было бы неинтересно, поэтому я решила голосовать. Остановился самосвал, перевозящий бревна. Почему-то я решила, что это подходящий для меня транспорт. Я легла на гору выше кабинки обледенелых бревен, связанных проволокой, рюкзак и лыжи передала водителю, а сама крепко ухватилась за эту проволоку и мы поехали.

Честно говоря, это было несомненно очень рискованно. Мало того, что я замерзла на ветре, но при толчках и торможении машины я скользила по бревнам и того и гляди могла вылететь из нее прямо под колеса самосвала. А ведь ехать нужно было около часа. Меня спасла только проволока и моя мертвая хватка. Однако руки потом пришлось растирать, мазать салом, казалось, что я их отморозила.

Зато в деревне была такая красота. Деревья просто сказочные, все вокруг покрыто белоснежным кружевным инеем. Так как это было время рождественских праздников, то мы с подружками под руководством знающих старух, гадали. Самое запомнившееся гадание было в бане. Надо было ночью войти в баню со свечкой (а бани располагались у речки на удалении от изб) и бросить в котел с водой камушек. Следовало следить за пламенем и слушать, как упадет камень – тихо или с шумом. От этого будет зависеть, какая у тебя будет жизнь, тихая или бурная.

Мы с девченками взяли одну свечку, гуськом между высоченными сугробами по узенькой тропке пробрались к бане и по очереди стали бросать камешки. Кругом темнота, жутковато. Когда подошла моя очередь, пламя свечки у меня в руке задрожало и она погасла. И в это время кто-то схватил меня за руку и страшно завыл. Мы в панике бросились бежать, но вскоре поняли, что это мальчишки решили нас так напугать.

На другой день мы поехали в соседнюю деревню, где в клубе вечером показывали фильм, а потом должны были быть танцы. Мы ехали на двух санях – на одних – девченки, на других – парни. Было очень весело, мы старались перегнать парней, смеялись, пели песни. А ночь стояла красивая, звездная, кругом искрящийся в лунном свете снег. Мы первыми въехали на пригорок, и вдруг лошадь шарахнулась в сторону. Впереди на открытом пригорке, освещенным луной, метрах в ста от нас стояли две неподвижные фигуры – волки. Это было так здорово и совсем не страшно, но запомнилось на всю жизнь.

В общем, этими каникулами я была очень довольна.

Летом было тоже прекрасно. У нас сложилась кампания человек 6-8, в основном девченок, в которой я себя чувствовала атаманом. Мы часами играли в лапту, казаков-разбойников, болтали, пели песни и частушки, купались в пруду, а потом и на Волосковском озере, находившемся примерно в километре от нашей деревни. Ходили по грибы и ягоды, по выходным бегали в соседние более крупные деревни, в которых были клубы. Там по вечерам смотрели кино – киномеханик Васька был из нашей деревни, поэтому мы по благу проходили бесплатно.

Возвращение домой ночью по тропинке через лес было всегда веселым – пели, шумели, мальчишки любили нас пугать, словом было очень хорошо.

Но вот с годами наши забавы стали принимать все более агрессивный характер. Это было как раз тогда, когда я перешла в десятый класс.

То ли гормоны, то ли что другое, любимым нашим развлечением было ставить колотушки в избы, где жили не только старики, но и взрослые, которые могли в свою очередь как следует съездить по спине дубиной. Интересно было лазать и за яблоками по чужим огородам, особенно к тем хозяевам, где эти огороды охранялись.

Однажды, возвращаясь ночью домой после кинофильма через чужую деревню, мы, а я само-собой была во главе этой кампании, подняли шум и гром, били палками по стенам стоявшей на отшибе избы. Я слышала слабый женский писк «Караул, помогите!». Но мне этого показалось мало. Надо бы их еще сильнее напугать. Я тут же написала записку: «Если завтра к 10 часам вы не положите под такой-то камень 100 рублей, то от вашего дома останутся одни угли» и сунула ее в окно. Надо сказать, что ночь была лунная, ясная, и лица дебоширов были прекрасно видны. Да мне и в голову не приходило, что надо скрываться – ведь это же просто невинная шутка.

Жители деревни так не думали и обратились в милицию. На следующее утро в Витове уже была милиция с требованием, чтобы меня срочно в 24 часа выселить из деревни. Тетя Дуся меня всячески выгораживала, и только после ее долгих и активных убеждений о том, что я такая умная и хорошая, отличница, комсомолка, спортсменка, из хорошей семьи, что все в деревне меня любят и такого больше не повторится, мне позволили остаться. Так закончились мои последние школьные каникулы.

Больше я в Витово практически не приезжала.

Зачем я так бесилась – ума не приложу. Ведь я не была злой, я и не собиралась ходить ни за какими деньгами, они мне вообще были не нужны – это была просто страшилка. Более того, мне на всю жизнь запомнился сдавленный крик-шепот испуганных в усмерть женщин: «Караул...». Уже став взрослой и имея своих детей, я страшно боялась, что и они в переходном возрасте смогут учудить что-нибудь подобное.

Но самое необъяснимое для меня это то, что когда я лет через двадцать заехала на денек в совершенно изменившуюся деревню Витово, то оказалось, что меня там вспоминают добрым словом и с грустью вздыхают, что современная молодежь уже не такая, в деревне стало совсем неинтересно, «а вот при тебе было совсем другое дело».

Вступление в комсомол и окончание школы.

Ну а в школе жизнь текла своим чередом. Пришла пора вступать в комсомол. Для вступления нужно было не только собственное желание, но и поручительство и характеристика от класса. Было четыре очереди, определяемые идейным уровнем ученика. В первую очередь, естественно, принимали самых продвинутых учениц, с хорошими отметками и поведением, отличившихся на общественной работе. Дальше – по убывающей. Так как в те времена быть комсомольцем было естественным, то и я, не взирая на бабушкино неудовольствие («ты еще не доросла, ты несерьезная, ты недостойна такого высокого звания») я очень хотела носить комсомольский значок.

Меня приняли только в третью очередь – для меня это было большое оскорбление. Ведь я, начиная со старших классов, очень интересовалась политикой, хотя меня к этому никто не принуждал. С большим удовольствием я читала газеты, хоть уже в те времена знала поговорку – «в Известиях нет известий, а в Правде нет правды». Я с ней была не согласна, однако мне всегда корбила часто встречаемая газетная фраза, употребляемая при обсуждении каких-либо событий в стране «...все, как один, поддержали (или осудили)...». Ну не может быть такое, и все.

Одним из самых умных политиков считала генерального прокурора Вышинского (как потом выяснилось, самого мрачного ретрограда и крючкотвора). Все, что происходило в стране, мне казалось правильным. Да, мы помогали бедным странам, несмотря на то, что наш народ живет явно не очень-то богато. Это тоже правильно. Ведь у нас не умирают от голода как в Африке, или как случалось при неурожае у нас в царские времена (см хотя бы рассказы про деревню А.П.Чехова). Мы сильные, победили немцев, у нас такие грандиозные стройки, работают заводы, фабрики, в колхозах получают хорошие урожаи (судя по великолепной картине «Кубанские казаки»). Нас боятся заграничные капиталисты. У нас много друзей в разных

странах потому, что мы за дружбу и справедливый мир, мы не хотим чужих богатств, нам не нужны зависимые колонии. Помогать слабым – это благородно, а иметь много денег для личного обогащения – это какое-то мещанство. Даже Христос говорил «скорее верблюд войдет в игольное ушко, чем богач в рай» (эту фразу я говорила бабушке, когда она пыталась мне возражать).

Вот с такими убеждениями, ничуть не фальшивя, я с радостью ходила на демонстрации, кричала ура, чувствовала себя свободной и счастливой. И такой я была отнюдь не одна, смею сказать, большинство, во всяком случае среди тех, кого я видела. Когда теперь иногда политики, видящие основное мировое зло в коммунистической идеологии, утверждают, что на демонстрацию ходили либо по разнарядке, либо за деньги – это ложь. В том то и трагедия нашего поколения, что подавляющее большинство шло на них радостно, как на настоящий праздник. «День седьмого ноября – красный день календаря» – он действительно был красным. Кстати, в советское время количество праздников, отмечаемых выходным днем, менялось, но в среднем их было меньше, чем сейчас. Мама рассказывала, что раньше выходным днем был день Парижской коммуны, однако я такого не помню. Зато помню два траурных выходных дня – 21 и 22 января, посвященных смерти Ленина. Но в 50-х годах его уже не было. Два дня полагалось на Первое мая и на Седьмое ноября, по одному дню на Девятое мая, День Сталинской конституции (5 декабря) и Новый год. И по-моему, все. Восьмое марта как выходной стали отмечать намного позже. Еще позднее прибавился и День советской армии.

Конечно, в народе отмечались и религиозные праздники, но на них специального выходного не было. В нашей семье вообще говорить о религии было не принято. Не было в доме никаких икон, но каждую Пасху у нас красились яйца, пеклись куличи, делалась очень вкусная пасха по каким-то старинным рецептам, а мы, то-есть мама, Танечка и я, отправлялись в Преображенский собор, пели «Христос воскрес из мертвых...», участвовали в крестном ходе вокруг собора, с удовольствием христосовались (во всяком случае я) с окружающими незнакомыми людьми. Там всегда было полно народа, шмыгали мальчишки, желая целоваться, присутствовало много милиционеров, следящих за порядком, а вовсе не разгоняющих толпу. Было весело, чувствовался народный праздник.

Мама, как глубоко религиозный человек, пыталась остаться и на заутреню, но я ее всячески тянула домой – ведь дома нас ждал накрытый бабушкой красивый праздничный стол, а для каждого под тарелочкой был подготовлен маленький подарок. Воспринимала я этот праздник как дань традициям, которых надо несомненно уважать. Поэтому на Новый год у нас всегда была наряженная елка со старинными, еще моего отца, игрушками, среди которых выделялся сверкающий ангел, на Вербное воскресенье – верба, на Троицу – березка.

Религиозных притеснений я не чувствовала. Когда при мне сносили Греческую церковь на Лиговке, я знала, что это не борьба с религией, тем более, что после войны церковь была заброшенной и превращенной в какой-то склад, а благоустройство города. Ведь вместо нее построили концертный зал Октябрьский, функционирующий и по сей день. То же самое можно было сказать о церквях и на улице Восстания и Садовой – вместо них построили станции метро. Может быть в архитектурном стиле они проигрывали старинным классическим зданиям (особенно на Садовой), но городу они были необходимы, а для желающих молиться, как мне казалось, церквей и так хватало.

Вообще с конца 40-х – в начале 50-х годов в городе во всю кипела работа, куда-то исчезли многочисленные развалины, строили новые дома, прокладывали дороги. С Невского убрали трамвайные пути и покрыли его новым асфальтом, открылась первая линия метро с великолепными подземными станциями – дворцами. Больше всех мне нравилась Пушкинская.

Открывались новые магазины, в частности на Невском во всю функционировал невероятно красивый Елисеевский (то, что сейчас – не такое, хотя тоже красивое), Пассаж, ДЛТ, Гостиный двор (в те времена похожий на Апраксин двор, то есть отдельные не связанные

между собою плохо отремонтированные магазинчики). В начале Невского был открыт большой магазин под названием «Смерть мужьям», где продавались дорогие эксклюзивные платья и костюмы из трикотажа. Открывались столовые, пирожковые. На улицах во всю торговали газировкой, разнообразным мороженым, причем очень вкусным (во всяком случае вкуснее, чем сейчас продается не только у нас, но и за границей), жареными теплыми пирожками как с повидлом, так и с мясом, капустой или рисом. Может это было и антисанитарно, но все равно вкусно и по цене вполне доступно.

В садах и парках по выходным играли духовые оркестры, что создавало определенное настроение, функционировали танцевальные площадки, где исполнялись вальсы, танго и фокстроты, а степенно прогуливающиеся горожане смотрели на танцующих с удовольствием.

В это послевоенное время при Сталине, по-моему, каждый год происходило снижение цен на продукты и ширпотреб, причем перечень подешевевших товаров занимал два разворота газетного листа. Пусть это были не такие уж сильные понижения, но в обществе создавали праздничное настроение и ощущение того, что жизнь упорно и для всех меняется к лучшему. Да и песни в эфире звучали преимущественно жизнерадостные. Во всяком случае мне казалось, что «жить стало радостней, жить стало веселей».

—
В 1953 году умер Сталин. Для страны и для меня лично это был просто шок. Толпы народа ринулись в Москву, чтобы участвовать в похоронах, забирались даже на крыши вагонов. Говорили, что были человеческие жертвы от давки.

Лично мне казалось, что жизнь остановилась. Я тогда была в 9-ом классе. Помню, мы стояли в почетном карауле у портрета Сталина, а потом колонной пошли на Дворцовую площадь. Туда валил народ, звучала траурная музыка. У меня в голове была одна мысль – если бы произошло чудо и можно было бы самой умереть, чтобы ОН остался жив, я была бы счастлива.

Наверное, таких, как я, были бы толпы. Но тут вдруг какой-то парнишка стал клеиться ко мне, говорить какие-то глупости. Я по сию пору помню охватившую меня невероятную злобу. С какой ненавистью и удовольствием я бы его уничтожила...

Вообще-то это страшно, оказывается весь мой гуманизм улетучивается по идейным соображениям, и я в глубине души была просто фанатичка, хотя теоретически фанатизм я всегда отвергала.

Дальнейшую учебу и выпускные экзамены вспоминаю смутно, видно они меня не очень затрагивали. Помню школьные комсомольские собрания, на которых прорабатывали неуспевающих и строили новые планы. На одном из них отчитывали мою подружку Милу Чуприну за то, что она сделала маникюр, в то время как с учебой у нее неважно. Я выступила против и процитировала А.С.Пушкина – «...быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». Сама-то я о них не думала, но ограничение свободы считала неприемлемым. Не помню, убедил ли я других.

В 1953 году в стране отменили раздельное обучение и объединили мужские и женские школы. Исключение сделали только для выпускных классов, то есть нас это объединение не коснулось, на учебе не отразилось. Мы с любопытством рассматривали этих чужих мальчишек, из-за которых в школе стало как-то слишком шумно, грязно и неудобно.

Училась я плохо, хотя отметки были хорошие, меня тянули на медаль. Причем, как стыдливый Альхен у Ильфа и Петрова, я понимала, что надо серьезно заниматься, ведь решается моя дальнейшая судьба, но все равно ленилась и из-за этого переживала. Моя бабушка все понимала, поэтому было еще тяжелее. Но у меня в это время были прямо-таки книжные запои, я читала даже по ночам. В основном это была отечественная и зарубежная классика. В результате я посадила зрение, стала близорукой, пришлось носить очки.

В момент сдачи выпускных экзаменов я, не отрываясь, читала «Сагу о Форсайтах». Шла на экзамен, на ходу читая книгу, и возвращалась, продолжая читать. А у окна стояла бабушка

и ужасно волновалась за результат. Но все прошло для меня благополучно, а вот что делать дальше – я не знала.

Раннее начало взрослой жизни.

Как и теперь, в те далекие годы было принято торжественно отмечать окончание школы. Были и напутственные праздничные речи, выступления, цветы, поздравления. Правда, это проходило далеко не так пышно, как это принято теперь, без Алых парусов, роскошного феерверка, концерта на Дворцовой поп-звезд и сногшибательных бальных туалетов, но все девочки были в нарядных белых платьях (миди) и с белыми бантами, в руках – букеты весенних цветов, воздушные шарик. Были и радость, и слезы.

В 1954 год в конце июня в Ленинграде стояла прекрасная погода, белые ночи, запах сирени, музыка на улицах, золотые дорожки на Неве... Для нас был арендован маленький пароходик, и мы на нем по Неве выплывали в залив. Теплый ветер, отблески зари на воде, ласковый плеск волн – короче, весь романтический набор присутствовал.

Лично я, наряженная в белое штапельное платье, испытывала наряду с растерянностью, высокий эмоциональный подъем. Меня переполняли какие-то необычайные внутренние силы, казалось, дайте мне рычаг, и я смогу перевернуть весь мир, сделать его прекрасным, справедливым и счастливым. Но вот что делать дальше самой и где этот рычаг? А пока мы ходили с подружками по городу (как он красив в теплые летние вечера!), со смехом принимали нелепые ухаживания мальчишек, я же все время читала стихи, как свои, так и классиков. Одним словом, лето 1954 года было для меня вероятно самым поэтическим. Конечно, стихи мои были никудышные, большинство из них я даже не записывала – рифмы так и лились сами собой, но некоторые из них я все еще помню. И вот одно, которое, как мне кажется, отражало мое юное восприятие мира:

Не хочу печалиться, не хочу грустить,
Буду улыбаться, а не слезы лить,
Весело смеяться, горячо любить,
Ведь такая радость в мире этом жить!
В мире том, где солнце по утрам встает,
Где волна морская нас в мечту зовет,
Где прозрачно небо, где светла вода,
Где не скроют солнца тучи никогда!
Ах, какое счастье мне дано судьбой
Жить под этим небом, под ночной звездой,
Видеть, наслаждаться, чувствовать, любить,
Вечно в сердце радость бытия носить!

Если учесть, что никаких конкретных лирических причин на то время у меня не было, то можно понять, насколько я была далека от реального восприятия жизненных забот. Для меня все вокруг было пропитано романтикой.

Но кругом говорили, что пора определяться. Конечно, поступать в Университет на биофак, куда меня упорно толкали, я категорически отказалась по двум причинам – во-первых я понимала, что бабушка рассчитывает на блат (дедушка все-таки был выдающимся биологом), а во-вторых, и наверное, это главное, в школе относительно меня сложилось твердое мнение, что «она -то уж в институт непременно поступит». Я конечно понимала, что школьных знаний моих маловато, но раз так считают, то, возможно, так и есть, и я могу выбрать для себя любую специальность. У меня был толстый сборник для поступающих в ВУЗы, но я все равно не могла ни на чем остановиться.

Рассуждая абстрактно, вероятно интересно стать астрономом, смотреть через телескоп в звездное небо, наблюдать за созвездиями, изучать зарождение и гибель иных миров, искать во Вселенной собратьев по разуму... Но кто-то из знающих взрослых сказал, что астрономы

очень редко смотрят в телескоп, а в основном занимаются математическими расчетами орбит различных небесных тел и другими скучными проблемами. Это мне явно не подходило.

Еще конечно интересно покорять океаны, изучать закономерности, происходящие в них, открывать новые острова, да и вообще, танцевать и купаться в морской пене с гирляндами цветов на шее где-нибудь в тропических морях (я в те времена зачитывалась рассказами Джека Лондона, а из художников мне очень нравился Гоген). Но как выяснилось, на океанолога брали только мальчиков.

Остался только Горный, где был факультет гидрогеологии, а ведь гидро – это вода. Значит мне надо туда, именно там были океаны и моря. Но на этот факультет был высокий конкурс 28 баллов из 30. Я столько и получила, поэтому спокойно подошла к списку поступивших. Но меня в нем не оказалось. Я – в деканат, там мне объяснили, что с таким баллом оказалось слишком много абитуриентов, и меня решили перевести на очень интересный нефтяной факультет, где был недобор. Это без моего-то согласия решили меня перевести на какой-то нефтяной факультет!.. (между прочим, как потом выяснилось, именно в это время на нефтяной факультет поступил мой будущий муж – золотой медалист). Я забрала свои документы и поехала домой страдать.

Бабушке я категорически запретила звонить куда-либо и договариваться через знакомых профессоров. Пусть им будет хуже, потеряли такую выдающуюся личность. С ногами я сидела в кресле, слушала пластинки и упивалась своим горем. Все мои подружки то поступили, а я... Мне представлялся уходящий поезд, я стою одна на перроне и их, моих друзей – ровесников мне уже никак не догнать.

Поездка на Кавказ.

Тем не менее, несмотря на страдания, я решила вместе с моей Валею осуществить важную мечту нашей жизни – посетить те места, «...где, сливаясь, шумят струи Арагви и Куры...», то есть, пройти пешком по Военно-Грузинской дороге. Не помню, как на это реагировала бабушка, но мы -таки поехали на Кавказ. Вероятно бабушка решила таким образом облегчить мне мои тяжелые душевные страдания.

Сейчас я могу уверенно сказать, что такая поездка двух совсем еще не приспособленных к самостоятельной жизни девочек была весьма опасной, хотя и запоминающейся.

Ехали мы на поезде до Тбилиси с пересадкой в Сухуми. Но в Сухуми мы впервые увидели яркое голубое море и решили, что здесь надо задержаться. На вокзале какая-то русская женщина предложила нам комнату, мы с радостью согласились, отнесли туда вещи и побежали на пустынный в такое раннее утро пляж. Я сразу бросилась в воду. Какая красота! Какое ласковое море! Так и хочется плыть куда-то вдаль, за буйки, там по- особому сверкает вода! Но вдруг я обратила внимание, что на перерез мне плывет какая-то темная фигура. Наверное, меня хотят оштрафовать за то, что я заплыла за буйки. Пришлось поворачивать назад. Фигура оказалась мужчиной, который плавал значительно быстрее меня. Как выяснилось, он просто хочет со мной познакомиться. Но это не входило в мои планы, большого труда стоило объяснить ему, что мне некогда и я опаздываю на поезд. Пришлось срочно уходить с пляжа.

Но и в городе было хорошо – полно тропической зелени, дурманящий запах магнолий, цветущие олеандры, приветливые светлые дома. Вот только встречные люди на нас как-то странно реагировали. Все мужское население на нас обращало просто нездоровое внимание. Возможно, дело было в том, что на нас с Валею были одеты брюки (тогда мода женщинам носить брюки только распространялась по стране), а здесь это было в диковинку. Встречные мужчины обязательно хотели с нами познакомиться. Однажды дело чуть ли не дошло до драки. Валя робко жалась к моему плечу, я активно огрызалась, словом, обстановка оказалась слишком напряженной, неприветливой.

К тому же в первые дни нашего пребывания у нас из кошелька исчезли деньги. Пришлось обратиться к квартирной хозяйке. Я, как более смелая, сказала, что вот он, кошелек, лежит на

столе, а деньги из него куда-то исчезли. Хозяйка обиделась на нас и выгнала вон. Мы с чемоданами направились на почту отсылать родителям телеграммы с просьбой срочно прислать нам денег на дальнейшее путешествие и возвращение домой.

Из Сухуми мы перебрались в Тбилиси. Конечно, город произвел сильное впечатление прежде всего тем, что он совсем не походил на наш северный, такой просторный, равнинный, холодный, геометрически выстроенный Ленинград с огромными площадями. Здесь было все более уютное, теплое, не прямолинейное, чувствовалась близость гор. Полно зелени. Дома тоже носили определенный национальный колорит. Даже река Кура, которая по ширине и полноводности может быть сравнима разве что с каналом Грибоедова или Мойкой, все равно была какой-то уютной, милой, говорливой, типично горной.

На узких извилистых улицах было полно приветливого народа, который с тобой приветливо общался. Утром по улицам ходили продавцы с огромными бутылками за спиной и пронзительно кричали:» Мациони!... мациони!» (между прочим, мациони – очень вкусный молочный продукт типа ряженки). Транспорт был тоже какой-то уютный, домашний. Если мы спрашивал у водителя, как удобней доехать до интересного для нас места, то он не только все нам подробно объяснял, но даже мог изменить маршрут общественного транспорта, чтобы довести туда, куда нам нужно. Город, несомненно, понравился, хотя чрезмерное внимание мужского населения причиняло много неудобств. В частности, в центре города в каком-то определенном месте всегда собиралась группа молодых хорошо одетых красавцев, которые часами лениво рассматривали проходящих, отпуская вслед различные шуточки. Надо же, видимо они нигде не работали и нигде не учились.

Мы решили подняться на фуникулере на гору Давида, где находился, судя по путеводителю, прекрасный парк с экзотическими растениями. Был будний день, народу было мало. Не успели мы пройти и десятка шагов, как к нам подошел смотритель (а может и экскурсовод), который велел нам срочно уходить, так как он не хочет отвечать за нашу безопасность. Пришлось, ничего не посмотрев, спускаться вниз.

На склоне горы, высоко над Тбилиси, находится пантеон выдающихся людей. Там, в частности, похоронен А.С.Грибоедов и его красавица жены Нины Чавчавадзе. На могиле очень трогательная, сочиненная ею надпись.: «Жизнь и дела твои бессмертны в памяти русской, но зачем я пережила тебя, любовь моя».

Из Тбилиси мы вместе с экскурсией все-таки отправились в тот монастырь, «где, сливаясь, шумят струи Арагви и Куры». Он стоял на склоне поросшего лесом холма. Сам интерьер монастыря оказался довольно скромным, не помню никакой позолоты и драгоценностей, но на всю жизнь запомнилась одна икона – поясной портрет Иисуса Христа. У него был совершенно особый взгляд, секрет которого состоял в том, что из любой точки зала он пристально, прямо в душу, смотрел на тебя.

Мы внимательно слушали экскурсовода, любовались видами, но совершили одну ошибку – что-то спросили у стоящих рядом экскурсантов. После экскурсии мы с Валею решили позагорать и самим спуститься на дорогу. Но это оказалось очень трудным – в целом спуск напоминал партизанский рейд – мы скрывались, нас преследовали. Неслись вниз с невероятной скоростью, продираясь сквозь колючий кустарник, прыгая как горные козы, с высоких обрывов. Но в конце концов все закончилось благополучно – преследователи нас догнали уже у открытой дороги. Оказывается, мы произвели на них неизгладимое впечатление.

Дальнейшее путешествие по Военно-Грузинской дороге прошло без особых эксцессов, любовались горными красотами, не отрываясь от общей группы экскурсантов и в основном из окон автобуса..

К сожалению, лично меня все время преследовало какое-то чувство несвободы, казалось, что за нами все время следят. Поэтому ощущение того, что все хорошо, то, что хорошо конча-

ется, присутствовало. В холодный Ленинград я вернулась с большой радостью, и снова столкнулась с вопрошающими взглядами бабушки и с реальностью – что делать дальше.

Попытка поступления в институт.

Кто-то мне посоветовал поступать на вечерний или заочный, факультет, но в Горном по специальности гидрогеология не было ни того, ни другого. В Горном институте был лишь заочный филиал московского нефтехимического института имени Губкина. Что делать? А время шло. Даже мама упрекала меня, что я сижу и бездельничаю. Пришлось послать в Москву копию моего отличного аттестата и результатов вступительных экзаменов. Завязалась переписка. Прием абитуриентов у них начинался только с Нового года и то при наличии справки с места работы. Какой работы? Куда я пойду? Как ее надо искать?

Я продолжала страдать, сидя в кресле. Бабушка не выдержала и позвонила к академику Д.В.Наливкину, зав. кафедрой в Горном институте. Он удивился, что так поздно к нему обратились, ведь уже ноябрь и занятия в сформированных группах давно идут. Предложил отсрочить зачисление на гидрогеологию на следующий год, но я сказала, что это невозможно. Тогда он предложил написать в Москву в деканат письмо, что хоть я временно не работаю, но он знает меня как способную и старательную студентку и просит зачислить без экзаменов к ним в институт. Письмо он написал, пришел ответ из Москвы на мое имя, в котором говорилось, что пользоваться блатом в таком юном возрасте недостойно звания комсомолки и советского человека. Я могу поступить в их институт лишь на общих основаниях, только при наличии справки с работы и по конкурсу на основании результатов новых вступительных экзаменов. Это убедило меня, что слушаться никаких взрослых советов нельзя, а жизнь моя просто закончена.

И вдруг раздался телефонный звонок и незнакомый мужской голос сказал, что в научно-исследовательском геолого-разведочном нефтяном институте ВНИГРИ требуется коллектор, и надо обратиться в отдел кадров по адресу Литейный 39. Хотя я и подозревала, что без бабушки здесь не обошлось, но, окрыленная, бегом побежала на Литейный, благо это было близко от дома. Короче, моя дальнейшая судьба решилась, а ВНИГРИ стал тем стержнем, вокруг которого складывалась вся моя последующая сознательная жизнь.

Юность. Начало работы во ВНИГРИ.

Вступительные экзамены в МИНХ я сдала на сплошные пятерки и стала студенткой-заочницей факультета нефтяной геологии.

Это должно было бы стать мне уроком – от гонора отказалась быть студенткой дневного нефтяного факультета в Горном институте, и после длительных и неприятных хлопот стала студенткой-заочницей нефтяного же факультета, но в Москве. Однако с учебой дело обстояло не так уж плохо. Лекции, на которые я в первом семестре ходила довольно регулярно, проходили в Горном.

Группа заочников, в которую я попала, состояла преимущественно из великовозрастных производственников, давно закончивших школу и благополучно забывших все школьные науки. Поэтому я на их фоне была звездой первой величины. Ко мне все время обращались для решения задач по математике и физике. Преподаватели ко мне прикрепляли отстающих, короче, я чувствовала свою значимость. А вот дружеских отношений я ни с кем не завела – очень уж мне все казались старыми, глупыми и неинтересными. Лица мужского пола так вообще отвратительными. Там сложилась группка особенно противных парней еврейской национальности, высокомерных и насмешливых, также, как и я, не прошедших по конкурсу. Они меня буквально изводили своим чрезмерным и явно недружеским вниманием. По вечерам они звонили мне по телефону и говорили всякие скабрзные гадости, при встрече старались меня как-нибудь задеть и обидеть. «Что я им сделала? Почему они меня так ненавидят? Ведь я никого из них никогда не трогала и не обижала» – страдала я дома и не могла понять, – неужели они меня считают антисемиткой, но ведь это совсем не так.

Через много лет, когда один из этой группы оказался в нашем секторе, я у него спросила, почему они меня так преследовали. Он мне ответил: «Потому, что ты нам очень нравилась». Никогда бы не подумала. Но тогда из-за них мне даже не хотелось ходить на занятия.

Осенью 1956 года вся страна была потрясена так называемыми Венгерскими событиями – в Будапеште произошло массовое восстание против коммунистического режима. На его подавление были брошены войска государств – членов Варшавского договора, а по сути в основном советские войска. Молодежь бурлила. Я очень хорошо помню переполненный огромный актовй зал в Горном институте, все шумели, что-то кричали. И вдруг на сцену выскочила девушка и в микрофон прокричала стихи. В них были такие строки:

Там детская кровь заливает асфальт!

Там русское – стой, как немецкое – хальт!...

Зал буквально взревел. Все мы по набережной толпой направились на Дворцовую площадь. По пути к нам присоединились студенты Университета. На площади тоже было много горячих слов и лозунгов. Я не помню, чтобы нас разгоняла милиция.

В прессе эти события отражались скупо как мелкие хулиганские выступления. Но на самом деле эти события, как мне кажется, были началом разрушения нашей страны, во всяком случае, веры в ее непогрешимость и в гуманизм социалистических лозунгов о свободе, равенстве и братстве. Я знаю, что с десятков студентов Университета и Горного института были исключены, но постепенно все как-то успокоилось, и жизнь пошла своим чередом. У меня эти события оставили ощущение невероятного порыва и единения в борьбе за справедливость, за честь и достоинство своей страны, которая не смеет никого угнетать, которая обязана быть светочем правды и справедливости (боже, какая я была дура). Еще долго я чувствовала себя некомфортно на занятиях и лекциях. Потихоньку интерес к учебе падал.

И только спустя полвека я узнала правду об э тих событиях в Венгрии, которые были совсем не так однозначны. Ведь там в результате их изменившейся государственной политики, направленной на борьбу с коммунистической идеологией, на улицы вышли толпы фашиствующих националистов, которые вылавливали, избивали, вешали противников. Происходили настоящие погромы, сопровождавшиеся жуткими убийствами коммунистов или сочувствующих им. Ввод советских войск должен был прекратить эти погромы.

На работе дела обстояли еще менее благоприятно. Конечно, само помещение центрального корпуса ВНИГРИ производил впечатление. Это бывший особняк Пашкова (архитектор Боссе), проданный им государству под Департамент уделов и прослуживший в этом качестве до революции. Каждый день мы входили в ту самую дверь, которая была воспета Некрасовым, и на которую он часто смотрел из дома Панаевых: «Вот парадный подъезд. По торжественным дням, одержимый холопским недугом, целый город с каким-то испугом подъезжает к заветным дверям».

На входе сотрудников встречали две огромные бронзовые фигуры буйвола и бизона. Широкая лестница вела в просторный вестибюль с огромным от пола до потолка сводчатым окном. Окно выходило в маленький собственный садик с круглым, в наше время не функционирующим фонтаном, окруженным разнообразными деревьями, в основном кленами. Могу смело сказать, что осенью вид из этого окна был непередаваемо прекрасным.

С горечью должна отметить, что в последствии, когда наш обедневший институт был вынужден сначала частично, а потом полностью покинуть это здание, так как арендная плата стала непосильной, в него въехала более богатая государственная организация – городское управление по экологии. Первым делом, экологи убрали фонтан, вырубили все деревья, заасфальтировали дворик и сделали в нем для себя отличную автомобильную стоянку.

Рабочие кабинеты находились в роскошных дворцовых апартаментах, некоторые из которых были разделены невысокими деревянными перегородками. Само собой разумеется, что

никакие даже самые мелкие переделки, типа вбить гвоздик или прикрепить бумажку кнопкой к стене не разрешались.

Помимо прекрасного дореволюционного декора стен и потолка, находившегося в приличном состоянии, в кабинетах сохранились и очень красивые мраморные каминные. Мебель, конечно, была своя, канцелярская.

Я попала в бывшую библиотеку – огромный мрачноватый зал на первом этаже, с пола до потолка обитый резными дубовыми панелями, в котором за разгороженными канцелярскими шкафами столами, заваленными бумагами, сидело человек 20.

В общем, внешняя обстановка была, на мой взгляд, вполне подходящая, но вот сама работа от 9 до 18 час, а главное, мое непосредственное начальство, ввергали меня в уныние. Это была Татьяна Львовна Дервиз. Такую фамилию я не так давно встретила в книге описания архитектурных достопримечательностей особняков Ленинграда. Наверное, она была из тех потомков. Во всяком случае внешне она напоминала злую высокомерную классную даму средних лет. Ни с кем из сотрудников она не общалась, никто не хотел с нею работать. Наверное, потому и была в отделе кадров к ней вакансия. Вообще-то по профессии она была стратиграфом. Мне она давала копировать каротажные кривые – для таких неумех, как я, это были совершенно неинтересные линии разных цветов, которые получаются при прохождении сквозь толщу земли определенных электрических разрядов.

Чтобы не уснуть от скуки, я про себя пела песни или читала стихи. Как-то Татьяна Львовна вдруг передала мне записку и велела прочитать ее дома. В ней было написано примерно следующее: «Люся, у вас есть дурная привычка – когда вы что-нибудь делаете, вы шевелите губами. Такая привычка раньше была у кучеров для привлечения к себе внимания пассажиров. Не делайте этого, это вульгарно». После такого послания я совсем приуныла. Хорошо хоть в скором времени у нас начинались сборы на первые для меня полевые работы. Но об этом немного позже, а сейчас я хочу рассказать о событии, которое как мне кажется, было для меня самым тяжелым в жизни.

Смерть бабушки.

В конце марта 1956 года умерла бабушка. Она уже давно страдала от астмы, часто принимала нитроглицерин и прыскала в рот какое-то средство. Но мы с ней в после школьный период как-то особенно сблизились. Часто сидели вдвоем, слушали пластинки, играли в музыкальную викторину. Бабушка была очень рада, что я устроилась на работу, а когда я получила первую зарплату и разложила купюры, как пасьянс, на столе, она чуть ли не прослезилась.

У нас с ней была твердая договоренность, что я ни при каких обстоятельствах не буду приходить домой позднее 11 часов, и я это четко соблюдала. Когда я вечером торопилась домой, то всегда знала, что у окна стоит бабушка и ждет меня.

И вот в начале года она получила толстую бандероль из Норильска, в которой были Левушкины бумаги и письмо. В нем сообщалось, что Левушка умер в больнице от воспаления легких. Это ее полностью подкосило – ведь судя по имеющейся между ними интенсивной переписке, она его ожидала домой уже этим летом.

Бабушка больше не вставала, сидела в кресле и почти все время молчала. Мама и Танечка всячески ухаживали за ней, я пыталась ее развеселить, что-то рассказывала ей, но все было напрасно. На 8-ое марта я на свои деньги купила ей очень красивую чашку, на которой написала «бабушке от внучки в день 8-го марта». Она с трудом приоткрыла глаза и шепнула – «спасибо, ласточка». Больше она не открывала глаз и ничего не говорила. Умерла через две недели тихо, во сне. Чашку я разбила.

Мама с Танечкой пытались меня утешить. Говорили, годы, что ж поделаешь. Я молчала и не плакала.

Похороны помню смутно. Знаю, что ее отпевали в Преображенском соборе. Я стояла в сторонке, священник говорил какие-то непонятные слова, а у меня было состояние, близкое к

экстазу. Мне казалось, что мы вместе с бабушкой в каких-то сверкающих высотах узнаем самое главное. Вдруг меня кто-то дернул за рукав — «вынь руки из кармана, нехрень паршивая» — проговорила какая-то незнакомая старушка. На этом мое общение с Богом закончилось.

Дома все казалось пустынным и ненужным, даже мелькала мысль о суициде. Если бы была водка, я бы запила, но ее не было, поэтому я написала стихотворение, вспоминая которое я плачу.

Ночь, комната. Четыре угла. Раз -два, раз – два.

Дверь, окно, стола круг. Сжат комок бесполезных рук.

Часы четверть бьют, ускоряю шаг. Уже сотни лет я хожу так

От окна к стене и назад, шагая с минутами в лад.

Слезы высохли на века. Словно плетть, не нужна рука.

Одинока. Одна, одна. Раз-два, раз-два.

По каким-то непонятным мне психологическим причинам, на первое мая пригласила к нам малознакомую мне компанию молодежи. Мама отговаривала меня – «Люся, что ты делаешь, ведь у нас траур». Но я говорила – ничего, пусть будет весело. Действительно, шумели, пили, пели, танцевали, но веселей не стало. Поэтому моя поездка в экспедицию в Западную Сибирь была для меня необходимым и настоящим лекарством.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.